

**Александр
Казарновский**

**Поле боя
при лунном свете**

роман



Александр Казарновский
Поле боя при лунном свете

«Книга-Сэфер»

2011

Казарновский А.

Поле боя при лунном свете / А. Казарновский — «Книга-Сэфер», 2011

В 1967 году три соседних государства – Египет, Сирия и Иордания – начали блокаду Израиля и выдвинули войска к его границам с целью полного уничтожения еврейского государства вместе с его жителями. Чтобы предотвратить собственную гибель, Израиль нанес упреждающий удар и в результате Шестидневной войны занял находящиеся в руках врага исторические еврейские земли – Иудею, Самарию (Шомрон), Газу и Голанские высоты – а также Синайский полуостров, который в 1977 был возвращен Египту. В то время как правящие круги Израиля рассчитывали, использовать эти территории как разменную монету, с целью подписания мирных договоров с арабскими правительствами, религиозная молодежь и просто люди, не желающие вновь оказаться в смертельной опасности стали заново обживать добытые в бою земли. Так началось поселенческое движение, в результате чего возникли сотни новых ишувов – поселений. Вопреки тому, как это описывалось в советской и левой прессе, власти всеми силами мешали этому движению. В 1993 году между израильским правительством, возглавлявшимся Ицхаком Рабиным и председателем арабской террористической организации ФАТХ, Ясиром Арафатом был подписан договор, по которому арабы получали автономию с последующим перерастанием ее в Палестинское государство. Подразумевалось, что, со временем ишувовы будут уничтожены, а евреи – выселены. Но, создав Автономию, Арафат в 2000 году начал против Израиля войну, которая вошла в историю под названием интифада Аль-Акса. Именно в разгар этой войны происходят описанные события, большая часть которых имело место в действительности.

© Казарновский А., 2011

© Книга-Сэфер, 2011

Содержание

К читателю	6
Пояснения к тексту	7
200... год. Восемнадцатое таммуза 18.00	9
За двадцать три дня до. 25 сивана. 5 июня. 18.15	13
Восемнадцатое таммуза 15.20	16
За двадцать три дня до. 25 сивана. (пятое июня). 18.50	17
За двадцать два дня до. 26 сивана. (5 июня). 21.15	23
За двадцать дней до. 28 сивана. (7 июня). 22.30	26
Восемнадцатое таммуза. 15.40	28
За двадцать дней до. 28 сивана. (8 июня) 9.00	30
За двадцать дней до. 28 сивана. (8 июня). 11.30	36
198... За шестнадцать лет до	38
За двадцать дней до. 28 сивана. (8 июня). 12:30	49
За девятнадцать дней до. 29 сивана. (8 июня). 20.30	52
За девятнадцать дней до. 29 сивана. (9 июня). 17.15	55
За восемнадцать дней до. 30 сивана. (9 июня). 20.40	57
За восемнадцать дней до. 30 сивана. (10 июня). 3.00	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Александр Казарновский

Поле боя при лунном свете

Посвящается Арье Клейману – самому отважному человеку из всех, кого я встречал.

К читателю

В 1967 году три соседних государства – Египет, Сирия и Иордания – начали блокаду Израиля и выдвинули войска к его границам с целью полного уничтожения еврейского государства вместе с его жителями. Чтобы предотвратить собственную гибель, Израиль нанес упреждающий удар и в результате **Шестидневной войны** занял находящиеся в руках врага исторические еврейские земли – Иудею, Самарию (*Шомрон*), Газу и Голанские высоты – а также Синайский полуостров, который в 1977 был возвращен Египту. В то время как правящие круги Израиля рассчитывали, использовать эти **территории** как разменную монету, с целью подписания мирных договоров с арабскими правительствами, религиозная молодежь и просто люди, не желающие вновь оказаться в смертельной опасности стали заново обживать добытые в бою земли. Так началось **поселенческое движение**, в результате чего возникли сотни новых *кибуцов* – поселений. Вопреки тому, как это описывалось в советской и левой прессе, власти всеми силами мешали этому движению. В 1993 году между израильским правительством, возглавлявшимся Ицхаком Рабиным и председателем арабской террористической организации ФАТХ, Ясиром Арафатом был подписан договор, по которому арабы получали автономию с последующим перерастанием ее в Палестинское государство. Подразумевалось, что, со временем *кибуцы* будут уничтожены, а евреи – выселены. Но, создав Автономию, Арафат в 2000 году начал против Израиля войну, которая вошла в историю под названием *интифада Аль-Акса*. Именно в разгар этой войны и происходят описанные события, большая часть которых имело место в действительности.

Многие из высказываний и размышлений на страницах книги навеяны лекциями замечательного русскоязычного раввина Менахема-Михаэля Гитика, за что я ему глубоко благодарен. Темы, названия и откровенно необъективные описания некоторых картин Иошуа заимствованы (без ее ведома) у замечательной художницы Маргариты Левин, за что я приношу ей глубочайшие извинения.

Также я приношу благодарность всякому, кто откроет эту книгу, и извинения, если он ее закроет, не дочитав до последней страницы.

Пояснения к тексту

Восемнадцатый день месяца таммуз 5762 по еврейскому календарю соответствует 28 июня 2002 по грегорианскому.

Тремп – сленговое выражение, обозначающее бесплатную подвозку на попутной машине. Распространено в Израиле, особенно на так называемых территориях. От этого слова происходят различные ивритоязычные и русифицированные неологизмы: тремпист, тремповать, тремпиада и т. д.

В Израиле приняты автомобильные номера: желтого цвета у машин на основной территории страны, белые – на территории Палестинской Автономии.

Караван – временное жилье, типа распространенного в России «вагончика».

Эшкубит – легкая постройка, чаще всего из гипсокартонных панелей.

Махсом, (ивр.) – блокпост

Милуим – военные сборы резервистов в израильской армии (ЦАХАЛ).

Соответственно милуимник – рядовой или офицер запаса, призванный на сборы.

Три основные молитвы в иудаизме: Шахарит – утренняя, Минха – дневная, Аравит или Маарив – вечерняя молитва.

«Шмоне эсре», «Восемнадцать благословений» – центральная часть любой еврейской молитвы.

Кадиш – молитва, которую еврей читает в память усопшего.

Гмара (она же Талмуд) – Устная Тора и комментарии к ней, составленные еврейскими мудрецами. Передавалась тысячелетиями устно, записывалась начиная с III в.н. э.

Тшува – возврат еврея по рождению к религиозному образу жизни.

Баалей тшува (ивр.) – Евреи, сделавшие *тишуву*.

Гиюр – процесс перехода в еврейство нееврея, то есть рожденного матерью не еврейкой.

Гер – прошедший гиюр.

геры из Перу: (из очерка автора «Путешествие из Кахамарки в Шомрон или нашего полку прибыло») «Все стихло в Шомронской долине, лишь какой-то индеец бил в барабан». Впрочем, сами герои очерка обиженно говорили: «Мы не индейцы, мы перуанцы. Индейцы – те в лесу». Но кровь коренных жителей Америки отчетливо сквозит в чертах этих людей, которые (или их родители) свыше тридцати лет назад в Кахамарке, расположенном в сорока восьми часах езды от Лимы, столицы Перу, создали поначалу вполне католический кружок по изучению Библии. Доизучались они до того, что отвергли весь Новый Завет и решили возродить еврейский народ, который сочли исчезнувшим, ибо ни одного живого еврея в глаза не видели, равно, впрочем, как и мертвого. Через некоторое время, однако, один из их активистов, попав в Лиму, наткнулся на синагогу, где, к взаимному изумлению, встретил конкурентов на звание еврея. Придя в себя после шока обе стороны установили контакты. Лимские евреи немножко просветили кахамаркских, так, что те перестали праздновать *рош-ходеш* август и стали праздновать *рош-ходеш ав*. Заодно снабдили их настоящими еврейскими молитвенниками. Через какое-то время израильское посольство провело среди перуанских евреев (изначально предполагалось, что коренных) конкурс на лучшее знание ТАНАХа, и первое место занял некий узкоглазый уроженец Кахамарки, который, получив в качестве приза поездку в Израиль, первым делом явился к Стене Плача, а затем в Главный Раввинат со списком членов его общины. Читатель ждет уж слова «*гиюр*», но вместо «На вот, пройди его скорей», наши герои услышали неистребимое «Ваш вопрос рассматривается». К счастью, которому помогло несчастье, в Перу началась эпидемия то ли холеры, то ли чего похуже. Услышав «Наши мрут!», израильтяне

быстренько всех огиюрили и стали пачками вывозить на новую родину. Репатрианты – а их было несколько сотен – с готовностью отправились в поселения Самарии под арабские пули и под дубинки полицейских, которые при разгоне «правых» демонстраций бьют «перуанцев» особенно нещадно. «Перуанцы» все это терпят, равно как и бедность и материальные неудобства. Их влюбленность в Землю Израиля – ни один не вернулся в Перу – заставляет вспомнить предание о душах неевреев, которые стояли у горы Синай, когда евреям давалась Тора, а потом из поколения в поколение ждали возможности присоединиться к народу Израиля. Впрочем, не все так считают. Автору довелось слышать и такое: «Все вы, религиозные, фанатики и шовинисты. А раввины ваши вообще сошли с ума. Навезли в наш Израиль всяких гоев!»

Пуримшпиль – традиционно разыгрываемый в праздник *пурим* спектакль о событиях, описанных в «Свитке Эстер»

Седер – празднование первого дня Пейсаха.

Ешива техонит – Старшая школа с религиозным уклоном. 9-12 классы.

Рош ходеш – начало нового месяца по еврейскому календарю.

Сиван – первый летний месяц по еврейскому календарю.

Ав – месяц еврейского календаря, соответствующий примерно июлю-августу.

Бней-Акива – молодежная религиозно-сионистская организация

Рав Кук – Величайший еврейский мыслитель XX века, основатель движения религиозного сионизма в нынешней его форме.

хаваль аль-азман – (ивр.) Досл. «Жаль времени». Примерный смысл «Нет слов!» Зачастую – возглас восхищения

Сабра – еврей, родившийся в Земле Израиля.

Ватик – сторожил.

Олим, оле хадаш – новый репатриант, вновь приехавший.

Секрет *тхлет* – краски особого оттенка голубого цвета, символизирующей небо, изготовляемой из особого моллюска, который водится в Красном море, на тысячелетия галута был утерян, и в наше время этот (или похожий) моллюск вновь найден.

200... год. Восемнадцатое таммуза 18.00

Никогда не думал, что бумага может быть живой. Живое письмо, чей автор мертв. Весточка с того света. Она обжигает пальцы, кричит человеческим голосом. Таким знакомым хриловатым голосом – я явственно слышу его – голос человека, которого час назад, зашив в мешок, опустили в землю. И этот голос зовет, требует, твердит: «Рувен, ты что, трус? Рувен, почему ты медлишь? Рувен, делай что-нибудь!»

«Рувен! Рувен! Рувен!» Я уже семь лет как Рувен. Семь лет назад я взял себе имя "Рувен", приехав в Израиль и поселившись в Ишуве, в Самарии, на «территориях», которые весь мир считает оккупированными. А мы никого не оккупируем, мы просто здесь живем, строим здесь свои *ишувы*, то есть поселения.

До приезда сюда я сорок лет звался Романом. Суть не в этом. Мой друг перед смертью оставил мне письмо – вот оно, у меня в руках. И в этом письме – имя убийцы. Так что же мне делать? Спокойно. Убийца был тоже здесь, на похоронах. Он еще не успел уехать. Но если успеет, уже вряд ли вернется. Он ведь фактически выполнил свое задание. Правда, остается еще мой придурковатый сослуживец Ави Турджеман, который влип из-за собственного тщеславия и из-за отсутствия у меня оного. Когда я убил террориста, он, возжелав славы, напел корреспонденту, что это сделал он. Один раз в него уже за это стреляли и ранили. Но для того, чтобы добить Ави, никакой спецагент не нужен.

«Алло! Это ешива тихонит «Шомрон»? Скажите, пожалуйста, Авраам Турджеман у вас работает? Сейчас его нет? А когда он будет?» И все. Это может сделать любой – позвонить по мобильному телефону прямо из Города. А дальше... Авин «Опель» все знают. Остальное уже зависит от мастерства снайпера. Предположим, Ави не вернется в «Шомрон». Тогда за ним начнут охотиться в Городке. А что, если после той двойной «явки с повинной» они подозревают и нас с Шаломом? Да нет, Ави официальный герой, его и уничтожить. На фоне славы, которую ему принесло ранение, мы навек самозванцы. Как бы то ни было, арабский наводчик и убийца моего друга в ишуве больше не появится. Теперь ему здесь нечего делать. Задание выполнено. Он исчезнет, а затем вынырнет в новом месте с новым заданием. Как помешать этому? Ну есть у меня его имя, фамилия, номер удостоверения личности... и что дальше? Бежать в полицию? Где она будет его искать? В Тель-Авиве? А если он слиняет в Город?

Город. Все перекрестки нашей многотысячелетней истории сошлись в нем. Когда-то он был первой столицей древнего Израиля. Сегодня, стараниями политиков – “юденфрай” – свободен от евреев. Логика простая – сначала изгоняем евреев, затем объявляем – видите, здесь живут одни арабы, следовательно, земли эти – арабские.

Я отвлекся. И так, действовать надо сейчас, иначе завтра где-нибудь в другом месте начнется этот террор внутри террора. Сколько раз мы в моем тусклом караване, паря в клубах табачного дыма, обсуждали, как вычислить этого мерзавца, и ни разу – как его сцапать. И вот мой друг стал частицей нашей святой, сухой, комковатой, не шибко плодородной, внешне ничем не отличающаяся от остальных и всё-таки нашей, земли.

Навстречу едет Ицхак, наш *равшиц* – ответственный за охрану поселения, сейчас покажу ему письмо и... «Конечно, Рувен, садись скорее, сейчас мы его догоним!»

– Ицхак! Ицхак!

Я машу рукой, складываю в щепоть большой, указательный и средний пальцы – дескать, остановись на минуточку, но Ицхак показывает пальцем на часы и разводит руками. Вот невежуха! Ицхак, который всегда готов остановиться и обсуждать с тобой что угодно и как угодно долго, трясая своим модным чубом, нехарактерным для религиозной публики и длинными пейсами, как раз характерными для нее, именно сейчас этот Ицхак куда-то жутко торопится.

Ну и ладно. В конце концов, письмо – единственное доказательство. Убийцу освободили бы ровно через пять минут, а потом он, голубчик, сел бы в машину, вставил бы ключ зажигания, надавил на педаль и скрылся бы в ближайшей арабской деревне. Чао!

Поток машин – это в нашей-то дыре – движется передо мной – словно все устремляются за Ицхаком – и я понимаю, в чем дело. Похороны кончились, люди разъезжаются.

А вот и он, родимец! Едет с похорон собственной жертвы и не знает, что письмо-разоблачитель у меня в кармане. Невозмутимо так, с сигареткой в зубах, ведет свой «форд мондео». Я застываю в растерянности, а затем тянусь за своей «береттой», забыв, что не взял ее с собой в дальние странствия, а оставил у Шалом. Это дает негодю те самые несколько секунд, за которые он скрывается за поворотом.

Идиот! Все равно надо было тремповать. А в машине я бы уже сообразил, что делать!

Почему, ну почему тогда на баскетбольной площадке я действовал быстро, точно – как автомат – а теперь все время теряюсь? Ничего, сейчас все эти машины застрянут внизу, у блокпоста на выезде из поселения. А я побегу за Шаломом. До его дома метров сто пятьдесят, но в гору. И тут происходит чудо. Я ведь заядлый курильщик и обычно на малейшем подъеме начинаю дышать, как мой пес Гоша после часовой прогулки, а тут вдруг пролетаю это расстояние, словно мушка.

Вспоминается «кфицат а-дерех» – сокращение расстояния, штука, описанная в рассказах об основателе хасидизма, великом мудреце и проповеднике Баал-Шем-Тове и его учениках, которые, странствуя, в своих повозках покрывали сотню верст за полчаса.

Вот и дом Шалом. Дверь, на которой выющимися буквами написано «семья Шнейдер».

Я, не стуча, дергаю за ручку, влетаю в салон. В салоне у Шалом, как всегда, жуткая духота и затхлость. Шалом панически боится воздуха. В любую жару все окна задраены, а жалюзи опущены. В-общем, не жилье, а логово вампира.

– Шалом!

Это звучит, как приветствие, но это не приветствие, это имя хозяина, нашего спасителя, нашего мстителя, который пока не знает ни о том, что он спаситель, ни о том, что он мститель.

Из спальни выскакивает Шалом, одетый с иголки – ну да, ведь только что с кладбища. Б-же, спасибо за то, что он оказался дома. Теперь, пожалуйста, помоги мне уговорить его тронуться в путь без разговоров. Помоги мне, помоги моему ивриту!

Шалом всегда похож на птицу. Когда молится – на глухаря или тетерева – я их не различаю. Когда думает – на пингвина. Во всех других случаях – на ворона.

– Здравствуй, товарищ! Как дила? Что ты хочешь? – Шалом демонстрирует мне свое знание русского. Нашел время, чурбан бесчувственный.

– Немедленно в машину! – ору я в ответ. – Нужно поймать убийцу!

– Какого убийцу?

– Того самого!

– Погоди, Рувен, ты что, знаешь, кто убил?..

И русский, и иврит в устах Шалом звучат, как английский. Шалом родом из Америки, не помню уж из какого штата...

– Быстро едем! – кричу я, теряя терпение. – Где мой автомат?!

Я ведь только сегодня вернулся из Москвы, и все это время квартира Шалом выполняла функции моего арсенала. Вообще, Шалом у нас – сила быстрого реагирования. Правда, он не очень понимает, в чем дело, но это неважно. Его «галиль» сам прыгает ему в руку (а мой «эм-шестнадцать», соответственно – мне), дверь сама бежит навстречу, мостик, выводящий со второго этажа на улицу, где ждет его «Субару», сам послушно стелется под ноги. И только в машине, летящей по – спасибо тебе Вс-вышний! – освободившейся дороге, он позволяет себе засомневаться – вдруг у меня с башкой что-то не так на почве страха перед террористами, или

просто перегрелся. Скорости он, впрочем, не снижает, но внимательно смотрит на меня, молча требуя объяснений. Я называю имя убийцы.

– Это тот, кого мы искали! Он работает на арабов!

Шалом снова бросает на меня взгляд под названием «Прощание с крышей», и я умоляюще бормочу.

– Пожалуйста, не останавливайся! Я тебе сейчас кое-что прочту.

Скороговоркой читаю куски письма, которое двадцать минут назад нашел у себя в почтовом ящике. С каждой строкой Шалом все больше и больше мрачнеет, слушая последнее письмо нашего друга. Когда же, наконец, убираю исписанный листок обратно в карман, он отворачивается – дескать, черта с два, Рувен, ты увидишь мои слезы. Блокпост мы уже миновали. Дорога делает перед нами виток, взлетая на гору, и в самом конце ее белеет «форд мондео». Ага, он все-таки поторчал в пробке у «махсома». Теперь задача догнать его. Шалом жмет на газ. Навстречу несутся красные глинисто-известковые слоеные обрывы, похожие на скал-столы индейцев, увенчанных зелеными уборами оливок. Расстояние между нами сокращается. Он, конечно, ничего не подозревает. Неужели нам так легко удастся его взять?

– Дави! – ору я Шалому по-русски, и тот, понимающе кивая, газует изо всех сил.

Дорога выдергивает нас на равнину, в центре которой среди полей соломенного цвета торчит одинокий арабский дом с приклеенной к нему кипарисовой рощей. Солдаты, охраняющие наше поселение, говорят, что вот на таких «хуторках в степи» находят приют и укрытие, явившиеся из Города террористы перед тем, как под аплодисменты прогрессивного человечества отправиться доделывать то, что Гитлер не успел.

Слева от нас, обложившись танками и бэтэрами (видимо, готовится очередная прогулка в Город) пролетает военная база.

– Может, позвоним туда? – спрашиваю я, тыча пальцем в сторону протянутых к нам дул.

– Бесплезно, Рувен, – морщится Шалом. – Они не вмешаются, даже не поверят нам. Только время упустим...

Спидометр зашкаливает и возникает острое сверхсветовое ощущение, будто мы и здесь, и еще где-то сзади, а наша «Субару» превратилась в толстого тупорылого боа-констриктора, голубым своим телом повторяющего все извивы вновь ушедшей в горы и там запетлявшей дороги. На подступах к арабской деревне мы почти догоняем «форд мондео». Здесь еще один блокпост. Солдаты проверяют арабские автомобили, идущие в Город и из Города. На дороге столпились десятки машин, в основном, почему-то желтокожих горбатых такси. Вот бы его сейчас сдать солдатам. Но он, обладатель желтого номера и израильского удостоверения, почти не снижая скорости, пролетает блокпост, а мы – за ним. Теперь главное – не спугнуть. Шалом клаксонит, а я опускаю окно, высовываю руку и складываю пальцы перстью, дескать, подожди нас. Похоже, он клюнул – скорость явно снижена. Вот сейчас... Но тут он резко вырывается вправо. В чем дело? Ах, ты решил заехать на бензоколонку! Дескать, там и побеседуем, заодно и бензинчиком разживемся. Вот и отлично. Тут-то мы тебя и прижмем – ведь выезд на бензоколонку только один – он же въезд. С шоссе это ясно видно. Но по другую сторону обрыв и какая-то насыпь. Так что попался, дорогой!

Вся-то заправочная станция – асфальтовая площадка с двумя столбами посреди, а на них – плита-козырек. Ну и внизу сами колонки с бензином и прыгающими стрелками за полукруглым стеклом да араб, владелец этого бензина. Подъезд с каждой стороны – ровно на ширину машины; хоть справа заезжай, хоть слева, все равно дорожки соединяются. А дальше – тупик.

Наша жертва заезжает справа, а Шалом следует за ним и на самом въезде на площадку разворачивается и ставит машину поперек дороги. Мы быстро распахиваем двери и вылетаем, захватив – Шалом – «галиль», я – «эм-шестнадцать». Хотя понятно – стрелять нельзя ни в коем случае солдаты с блокпоста загребут нас, а не его. Почему-то из машины он не выходит – ждет, когда мы приблизимся. Араб, хозяин бензоколонки, в испуге жмет к одному из бетонных

столбов, подпирающих козырек. Он поднимает глаза, словно просит Аллаха защитить его. Я невольно тоже смотрю вверх. Там, над горой Благословения, зависли белые тучи в точности, как в тот вечер двадцать три дня назад, когда случилась трагедия, с которой все и началось.

За двадцать три дня до. 25 севана. 5 июня. 18.15

Над Горой Благословения зависли белые тучи. Их белизна казалась кисеей, слегка прикрывавшей нечто очень темное, мрачное, с червоточиной внутри.

На душе у Цвика было тревожно. Вообще-то он любил такими вот вечерами, после уроков, выйти из комнаты в ешивском общежитии, которую делил с Авиноамом Амаром и Якиром Карми, на газончик и, не отрываясь, смотреть на горы.

Гора Благословения и Гора Проклятия улеглись прямо перед ним, как собаки, которым хозяин скомандовал: «Место!» Они оскаливались белозубыми рядами домов, окраиной, окалиной, пеной, выплеснувшейся из Города, kloкочущего в долине, этими горами. Над одним из кварталов струился белый дым.

Пожар? Мусор жгут? Или наши долбанули? Хотя нет, вроде сегодня стрельбы не было.

Цвика на секунду задержал внимание на черном квадратике, увенчивавшем Гору Благословения. Он про себя называл его самаритянским храмом. Там, на этом гребне, самаритянская деревня. Еще до войны Цвика чуть было не поехал – а теперь жалел, что не поехал – на экскурсию в эту деревню. Теперь уже это территория Палестинской Автономии. Евреям туда путь заказан. Теперь уже не удастся ему посмотреть на этот странный народ, некогда пожелавший стать евреями, да так и не ставший – сначала запутавшийся в идолопоклонстве, а затем создавший псевдо Тору, но уже за стремление, хотя бы за стремление, приблизиться к Торе, сохраненный Б-гом навеки.

– Почему, – спросил ассирийский царь Санхерив у одного из евреев, угнанных из Самарии – почему вас львы не трогали, а на этих, которых мы поселили на ваше место, нападают.

– Потому, – ответил тот, – что эта земля терпит лишь тех, кто соблюдает Тору.

– Какие проблемы?! – заявили переселенцы из Куты, будущие самаритяне. – Мы тоже примем Тору.

«Интересно, – подумал Цвика, – значит, в Эрец Исраэль могут жить лишь те, кто соблюдает Тору? Может, именно поэтому до прихода евреев земля здесь была пустыней? А что нас ждет сейчас?»

Он еще раз взглянул на черный спичечный коробок, ребром прилепившийся к линии хребта, и твердо сказал себе: «Настанет мир – обязательно съезжу на раскопки самаритянского города».

Действительно, почему бы ему, когда он вырастет, не стать археологом? Тору он будет и учить, и соблюдать, но разве Вечность, материальная, извлеченная из праха земного Вечность, в форме какой-нибудь вещи, пролежавшей в земле тысячи лет, разве не является она продолжением Торы? Разве когда идешь по улицам древнего, тобою раскопанного города...

На горы легли первые мазки сумерек. Цвика почувствовал, что из зрителя превращается в режиссера.

Вон там, внизу, где только что плыли грузовики, вычернилась глубокая яма. На жидком дне что-то копошилось – он знал, что это змеи и скорпионы, но не видел их отчетливо. А на краю ямы стоял юный Праведник – тот, кому предстояло стать праотцем сразу двух колен Израиля, а впоследствии быть похороненным в Городе. Сейчас это был Цвикин ровесник, но ниже его ростом, внешне напоминающий Ави Хейфеца, с черными прямыми волосами, аккуратно расчесанными на манер египетских париков (Цвика забыл, что Праведнику только предстояло отправиться в Египет). Эти волосы были перехвачены белой ленточкой, а одежда поразительно напоминала кутонет первосвященника, как его живописал рав Узиэль на уроках гмары. Цвика отвлекся, вспомнив скандал, который он, десятиклассник, недавно закатил учителю Талмуд-Торы раву Сабагу, услышав случайно, как тот, рассказывая малышам о цветной одежде Праведника, подаренной ему отцом, закончил свое повествование следующей сентен-

цией: «Из этого рассказа мы видим, детки, что отец никогда не должен дарить одному из своих сыновей одежду более красивую, чем у других»

– Как вы можете, – возмутился Цвика, – превращать Тору с ее бездонной глубиной в слащавую нравоучительную сказочку?

И когда учитель робко оправдывался тем, что дети-то маленькие, Цвика не успокаивался:

– Тем более! Они должны уже с такого возраста понимать, что в Торе нет ни одного слова, которое мог бы написать человек! Что она – Бо-же-ствен-на!

Б-жественна, говоришь? Бедный рав Сабаг. Здорово Цвика тогда его распек. А сам он много вспоминал о Б-жественном, когда восемнадцатилетняя Реут из дома напротив, принимая душ, забыла закрыть ведущую прямо на улицу дверь ванной. Сколько раз он при этом скомандовал себе: «Отвернись!» Сто? Двести? А все равно не отвернулся. Да и сейчас ругает, ругает себя, а Реут при этом – вот она, вся как есть, перед глазами. Тем временем юный Праведник терпеливо дожидался, пока Цвика о нем вспомнит. С усилием отвлекшись от своих мыслей, Цвика увидел, как по перепачканным щекам мальчика тянутся засохшие следы от слез. Маленькие ступни были покрыты бурой жижицей, стекавшей на каменистую землю.

– Да что вы! – восклицал широкоплечий мужчина, стоящий к Цвике спиной. – Он просто сейчас такой чумазый, а так – красавчик! Его собеседник в полосатом тюрбане и с незлыми глазами с сомнением смотрел на мальчика.

– Покупайте, покупайте! – продолжал убеждать его широкоплечий. – Мы же недорого просим, совсем недорого.

– Как его зовут? – задумчиво спросил купец.

– Цви-и-ка! – раздался крик, и видение замерло, точно кадр на видео. Воздух тотчас же заструился, как вода. Образы начали таять и стекать, словно капли дождя по стеклу. Все заволкло дымкой. Цвика обернулся. К нему приближался Авиноам. Никогда не дадут подумать, попредставлять. Цвика одернул себя. Нельзя с раздражением думать о ближнем. Он мысленно помахал рукой Праведнику, его братьям, его покупателям. Затем выключил галлюцинацию и, стараясь придать дружелюбия своему голосу, сказал подошедшему Авиноаму:

– Да-да, я тебя внимательно слушаю.

Похоже, он переборщил, и вышло малость приторно. Но Авиноам этого не заметил.

– Давай в шахматы поиграем, – предложил он.

– Знаешь, сегодня у меня что-то нет настроения, к тому же скоро уже *аравит*.

Авиноам пожал плечами и, взяв книжку, завалился на койку. Похоже, он всё-таки немного обиделся. Цвика тоже пожал плечами – мол, потом помиримся, тем более что, собственно говоря, и не ссорились. А сейчас можно еще немножко посмотреть на горы, пока не стемнело. «Мои горы» – мысленно прибавил он.

Он вспомнил, как отец рассуждал на тему – «свое-несвое».

Отец родом из Мексики, но десять лет прожил в Нью-Йорке. Там он, кстати, и к вере вернулся, и в ешиве поучился. Так вот он говорил, что ни в Мексике, ни в Америке не чувствовал себя дома. Причем в Мексике тридцать лет прожил, антисемитизма в жизни не чувствовал, а всё равно был чужим.

С матерью еще интереснее. Она вообще *гиюр* проходила. Родилась она перуанкой...

...Итак, мама родилась перуанкой – и слово в слово, то же, что и отец – сколько лет жила на родине, столько лет жила на чужбине. И оба, не сговариваясь: «Только тут, в Израиле – дома». А для него, Цвики, дом не просто Израиль, а именно Самария. Он и в Тель-Авиве себя иностранцем чувствует. Даже не просто иностранцем, а...

Учился у них один парень, который обожал стихи. Он читал им стихотворение какого-то французского поэта, и там был образ, запомнившийся Цвике.

...Моряки поймали альбатроса, и вот эта могучая птица, что свободно парит в небе, теперь по палубе неуклюже ковыляет, а матросы над ней издеваются, пускают в нос табачный

дым. Вот таким же альбатросом Цвика чувствовал себя среди пабов, среди тамошних ребят, которые и по одежде и по образу мыслей казались ему, чуть ли не инопланетянами. А Самария была для него – небом. И люди там были полны – небом. И жить в ней означало – быть носителем неба.

Восемнадцатое таммуза 15.20

На протянутых по небу невидимых веревках, словно белье, повисли белые тучи. Мы делаем несколько шагов по направлению к нашей жертве, и тут происходит невероятное – он нажимает на газ и устремляется в тупик. А у нас, как у Агари в пустыне, когда ангел показал ей дотоле незримый колодец, внезапно открываются глаза, и мы видим, что тупик этот вовсе никакой не тупик, а начало бетонки. Но куда она ведет? Мы же в точности вычислили, что никуда.

Пока мы соображаем, что к чему, он выезжает на эту бетонку. Мы бросаемся к нашей «субару», плюхаемся на сиденья, захлопываем двери, причем я делаю это со второго раза, сперва врезав дверцей по прикладу своего «эм-шестнадцать», неуклюже оставленному мною снаружи. Все это стоит нам еще нескольких драгоценных секунд, а затем мимо араба, мимо колонок с бензином устремляемся за «фордом мондео». Удар снизу по попам сообщает нам, что мы – на бетонке. Но он уже далеко впереди. Куда он несется? Куда несемся мы, следуя за ним по пятам?

Я вдруг чувствую за спиной, на заднем сидении присутствие нашего друга, которого сегодня опустили в выдолбленную в сухом грунте яму. Он в одиночку после того, как я его подвел и бросил, докопался до истины и погиб, возможно, спасая наши с Шаломом жизни. Я физически ощущаю, что мне в затылок впивается его взгляд, и мои глаза наполняются слезами. Если бы все можно было вернуть назад! Если бы все можно было переиграть!

Бетонка действительно обрывается, вернее, перетекает в полутораметровую насыпь из мелких камней, нависающую над шоссе прямо напротив блокпоста. Именно с этого обрыва и сигает его «форд мондео» и мы вслед за ним. Я в ужасе зажмуриваю глаза. И зря – никакого обрыва нет и в помине, а есть довольно пологий спуск, по которому, хрустя камушками, скачивается сначала он, потом мы.

А с шоссе казалось – насыпь, и насыпь довольно крутая.

Он сворачивает направо и движется в сторону арабской деревни, через которую проходит наше шоссе. Погоня возобновляется. Теперь, что называется, карты на стол. Он засек нас, и взять его легко не удастся.

Деревня. Шоссе несется между серых плоскочершных домов. На экране окна мелькают груды мусора в три человеческих роста, стены домов, куски бетона с торчащей арматурой, На повороте – крупным планом растянувшаяся на боку в тени гаража спящая пятнистая собака. Белый «форд мондео», предварительно подпустив нас поближе, на полном ходу круто выруливает в переулоч, подползающий к шоссе сзади под углом градусов тридцать. Мы, естественно, на всем скаку пролетаем этот поворот, но Шалом, резко тормозит и, как в голливудском фильме, разворачивается прямо посреди шоссе.

Арабов на улице не видно, но те из них, что прижали носы к оконным стеклам, удивляются, должно быть, тому ралли, которое для них устраивают евреи – ведь и «субару» и «форд мондео» с желтыми номерами.

Мы съезжаем с шоссе и продираемся по переулочу. Что это? Как будто я уже когда-то видел этот двухэтажный особняк с колоннами, на фасаде которого мозаичная картинка – златоглавая голубая мечеть, рассевавшаяся на месте нашего Храма. Однако я здесь не мог бывать раньше – евреям и в лучшие годы, проезжая через деревню, заказано было сворачивать с шоссе. Дежа вю? Доказательство переселения душ? Но дом новый, он не может быть из прошлой жизни. Ба, да это же мой сон через сутки после побоища на баскетбольной площадке.

За двадцать три дня до. 25 севана. (пятое июня). 18.50

Словно очнувшись от сна, сквозь наливающуюся темной мякотью неба начали одно за другим проступать острия звезд.

– Цвика!

На сей раз это Ави Ерушалми. Тащит за руку Ави Хейфеца, паренька из девятого класса, того самого, который в видении только что являлся Цвике в образе юного Праведника.

– Что случилось, Ави?

– Ничего! Вчера выхожу на тремпиаду – вижу, этот дурачок бросается камнями в арабские машины. Здоровый такой грузовик – а у Хейфеца в руках здоровый такой бульжник. Хорошо хоть не попал!

Хейфец пал духом.

– Ну и что? – спросил Цвика.

Хейфец воспрял духом. Ави Ерушалми начал делать страшные глаза – дескать, поддержи меня! Даже челюсть нижнюю выпятил.

– Никогда больше так не поступай, – покорно наставил Цвика Хейфеца, и тот растворился в потемневшем воздухе.

– Чего ты прицепился к парню? – хмыкнул Цвика. – Ну, кидает и пусть кидает. Они же в нас кидают!

– Вот именно! – вставил вновь сконцентрировавшийся в лучах фонаря Хейфец. – Я говорил то же самое.

– Вали отсюда – рявкнул, отчаявшись, Ерушалми, и Хейфец свалил. Тогда Ерушалми накиннулся на Цвику.

– Ты что?! – прорычал он. – Что с того, что кидают?! Зачем вставать на одну доску с ними? Они и наших мирных людей убивают. Давай, начнем их мирных людей убивать!

– Я не предлагаю никого убивать, – защищался Цвика. – Убивать нельзя, а все остальное...

– Ну и дурак, – подытожил Ави. – Главное, чтобы руки были чисты. А если мы озвереем, как они, Вс-вышний отвернется от нас, и тогда...

Он, не договорив, махнул рукой и пошел прочь. Цвика остался, размышляя, нет ли в словах Ави своей логики, своей правды. С одной стороны на клочке земли, именуемом «Эрец Израэль» двум народам разойтись невозможно. Арабы это понимают и пытаются сделать жизнь евреев невыносимой, чтобы те ушли отсюда. Значит, евреи вправе отвечать им тем же. С другой стороны Ави тоже прав... Тут Цвике пришлось прервать мыслительный процесс – из-за угла вынырнул Рувен – охранник их ешивы, иммигрант из России, маленький, худой с виду похожий на школьника, хотя было ему уже далеко за сорок.

Далее следовал ритуал. Дело в том, что недавно Рувен обучил Цвику песне на русском языке:

«Мама, мама, что я буду делать,
Как настанут зимни холода,
У тебя нет теплого платочка,
У меня нет зимнего пальта!»

Когда Рувен приблизился, Цвика скомандовал: «Тхы, четыхэ» – и они запели дружным безголосым дуэтом. Но пели недолго: Цвика, чувствуя, что перевирает слова незнакомого языка, расхохотался, а вслед за ним заржал и Рувен.

– *А-ра-вит!* – раздался крик все того же Хейфеца. “Чего орать, – подумал Цвика. – И так все знают, что в восемь – *аравит*. До чего же этот Хейфец любит шуметь, чтобы привлечь к себе вни... Тьфу!” Цвика прикусил мысль, как прикусывают язык. Ну почему он такой, почему у него не получается любить ближнего без примесей, как этого требует Тора? Правда, ему удастся никому не показывать свою раздражительность, но с другой стороны – плохо удастся. Люди всё равно на него обижаются. Да и назвать это раздражительностью – больно мягко. Откуда в нем эти выплески какой-то злобы, ярости? И какой он после этого еврей Торы, если не может соблюдать основу основ – “Не делай другому того, что ненавистно тебе”. Тем более что сейчас-то он и на часы посмотреть забыл. И опоздал бы, если бы не Хейфец. Так что надо спасибо сказать, а не злиться. Да, недаром рав Элиэзер говорит, что другие заповеди человек всю жизнь выполняет, а заповедь любви к ближнему – всю жизнь только учится выполнять.

Цвика поднялся и вдоль белых *эшкубитов*, служивших «корпусами» общежития, направился к синагоге.

Эшкубиты! Грязно-белые кубики, шершавые коробки! Что может быть уродливее вас и что может быть прекраснее! Сначала, после скандалов в газетах, драк с полицейскими, обивания порогов и обличительных речей в наш адрес в Кнессете, в руках первопроходцев появляется, наконец, заветная бумажка с разрешением на создание поселения – справка о том, что еврейское правительство, скрепя сердце, позволяет еврейскому народу пожить еще на одном пустующем клочке еврейской земли. Потом рядом с временкой-«караваном», вагончиком без колес, с которого сейчас начинается борьба за создание поселения (когда-то она начиналась с палатки) строится эшкубит, знак того, что мы здесь – навсегда. А караван стоит рядом и тихо ждет нового боя, когда его повезут в следующее новорожденное поселение.

Синагога размещалась тоже в эшкубите, но не в обычном, квадратном, а длинном, как барак. Когда Цвика приблизился, он, еще не войдя в помещение, понял по доносившемуся из открытых окон бормотанию молящихся, что догнать их будет трудно, однако, поднатужился, скороговоркой протараторил вступительные благословения и уже вместе со всеми произнес:

– Шма, Израэль...

– Слушай, Израиль, Г-сподь наш Б-г, Г-сподь один!

Цвика закрыл глаза и увидел себя на опушке бескрайнего украинского леса. (Он что-то слышал про Украину что-то, про Сибирь, но у него эти понятия совмещались). Посреди леса – горсточка евреев, а вокруг них – казаки. И казак, усапый такой, приставляет ему, саблю к горлу и крест – к губам. Или – или. И все евреи смотрят на него, Цви Хименеса. Если дрогнет, они тоже дрогнут. И он зажмуривается и кричит: “Шма, Израэль! Слушай, Израиль, Г-сподь един, Г-сподь наш Б-г!” А казак его – саблей по горлу.

Золоченой саблей месяц рассекал черное тело ночи, когда, закончив ужин, Цвика вышел из столовой. Он вспомнил, что собирался позвонить Хаиму. Старина Хаим! Сколько они с ним вместе помотались по стране – перепрыгивали из тысячелетия в тысячелетие на раскопанных археологами древнего Меггидо, охватывали взглядом с Хермона три страны, лежащие под ногами, спускались в лунную преисподнюю кратера Рамона...

Ноль-шесть-четыре-восемь-пять-один-один-восемь-пять. Автоответчик. Увы, Хаима нет дома. А до чего же нужно с ним посоветоваться! Цвика уткнул взгляд в навалившуюся на холмы тьму, будто в ней прятался еще один, какой-то неведомый друг, готовый подсказать ему что делать. Но никакой друг оттуда не вылез.

Зато выплыло зеленое светящееся пятно – абажур ночника. Из-под него выплескивался свет, который оживал при соприкосновении с белой стеной и умирал, утопая в складках одеяла. Под одеялом лежала девушка. Она натянула его себе на подбородок. Даже нижняя губа была прикрыта, зато верхняя алела на фоне матового розоватого лица. Глаза смотрели серьезно и с какой-то болью. По подушке струились волосы.

Он тогда случайно зашел к ней, и, присев на краешек кровати, застыл, потрясенный ее взглядом. Он не боялся, что кто-нибудь войдет в комнату, даже не думал об этом, он вообще забыл, что существует дверь, которую могут открыть. Он лишь недоумевал, как умудрились сосуществовать эти глупые-карие глаза, длинные черные ресницы и каштановые волосы, залившие подушку. Он знал, что никогда не осмелится откинуть одеяло, под которым находится великое сокровище – ее тело, что не может прикоснуться губами ни к этим губам, ни к этим глазам, но волосы... Самое внешнее в человеке. Граница между живым и мертвым. Они растут, как живые, но не чувствуют боли. Он протянул руку и начал гладить ее по волосам, Она улыбнулась. Он провел указательным пальцем по ее щеке. Он положил руку на тонкое одеяло. Рука заскользила по гладкой ткани, чувствуя под ней плечи, грудь. Больше между ними не произошло ничего. Но в этот момент оба почувствовали, что прикованы друг к другу. Быть может, на миг. Быть может, навек.

И вот теперь который день подряд он сходит с ума, не знает, что со всем этим делать. С кем посоветоваться? С отцом или с матерью?

Разным бывает *баалей тишва*, возвращение к религии. Бывает, что оно проходит очень мягко. Что до его родителей, то они люди крайних взглядов и ежедневно вступают в бой с собою прежними, а равно с любым своим или чужим поступком, намерением, мыслью, хоть как-то напоминающим их собственные до возвращения к Торе. Что же делать? И последнюю очередь он вспомнил о том, о ком должен был вспомнить первым – о раве. Стыд, как сок спелого лимона, попавший на язык, заставил Цвику скривиться. Надо же – «верующий» еврей! И еще думает. Да быть может, ситуацию Б-г специально так скроил, чтобы дать ему возможность правильно поступить, чтобы проверить, побежит ли он к раву или к мамочке с папочкой, заветному другу Хаиму или вообще к самому себе.

Он убрал мобильный телефон в карман и двинулся в дальний эшкубит, в кабинет рава Элиэзера. Сейчас девять часов. Рав Элиэзер в это время обычно разбирает свои бумаги и принимает всякого, кто придет.

Цвика надавил на ручку, ходившую ходуном оттого, что все шурупы разболтались, и, открыв дверь, вошел в темную учительскую, которая заканчивалась коридорчиком, в кабинет рава Элиэзера. Вообще-то, он мог бы весь путь к кабинету рава проделать и с туго завязанными глазами. Конечно же, несмотря на темноту, Цвика запросто мог сориентироваться в учительской, где зачастую проходили уроки, и куда детям вход не только не возбранялся, но и приветствовался.

Но тут он оробел и, перешагнув порог, вдруг как-то застрял, начал озираться, наугад ткнул большим пальцем в белый кубик выключателя... Промахнулся. Еще раз ткнул. Попал. Белые стены озарились белым же светом, пронзительно-белым, который бывает лишь в офисах и школах.

– Кто там? – раздался голос рава Элиэзера. Всё. Сейчас он задаст ему вопрос, с которым вряд ли кто из учеников когда-нибудь обращался к нему – и будь что будет, – твердо решил Цвика и... развернувшись на сто восемьдесят градусов, бросился бежать. При этом он споткнулся об обломок глиняной вазы, некогда украшавшей мини-клумбу перед входом в учительскую, и шмякнулся на траву. Сзади скрипнула дверь, и Цвика оказался в ковше света. Он обреченно поднялся. На пороге учительской стоял рав Элиэзер.

– ...Рав Элиэзер, мне уже шестнадцать лет. Через два года – в армию. Я, конечно, пойду в боевые части, как все у нас в Самарии. Только бы профиль не подкачал.

– Не подкачает. Ты вон какой здоровый, – улыбнулся рав Элиэзер. – Продолжай.

– Получается, что жениться я смогу только через пять лет. А до тех пор что? Вообще не смотреть на девушек? – Цвика замолчал, ожидая, что рав Элиэзер скажет либо “да”, либо “нет” либо хотя бы руками разведет. Но рав Элиэзер молча смотрел на него. Замолчал и Цвика. По белой стене рутую скользнула крохотная ящерка и скрылась в щели кондиционера.

– Продолжай, – сказал рав.

О чем продолжать? О том, как настояниями равов ни разделяли «Бней-Акиву» на мальчиков и девочек? Или о том, что, как родители ни ругаются, а вечерами они все равно гуляют по ишуву вместе. И каждый вечер, стайка ребят и девушек собирается и – либо у Лиора (у него родители на спецавтобусе в двенадцать ночи приезжают), либо у Сивана – у него отец с матерью не против – а иногда просто пойдут в лесок костер развести, рассядутся на травке и болтают.

Не то, чтобы у кого-то какие-то романы. А впрочем, кто его знает? Если и есть что-нибудь такое, здесь это тщательно скрывают даже от близких друзей. Ну, тем, кто постарше – прямой путь под хупу, здесь все понятно. А что делать таким вот, как он, Цвика? До хупы как до луны.

Рав молчал.

– Мне нравится одна девушка, – выдал из себя Цвика. – Вам, наверно, ученики никогда такого не говорили.

– Почти, – согласился рав. – Всего лишь каждый третий, не чаще.

Лампа дневного света отсвечивала на глянцевой фотографии рава Кука, в точности посередине его знаменитой папахи. Цвика перевел взгляд с рава Кука на рава Элиэзера. Правда или шутка были его последние слова, но Цвика почувствовал, что пробка из бутылки вылетела, и все, что у него в душе вызрело, сейчас, как гейзер шипучего вина, рванет вверх. Так и вышло.

– У нас в Офре, – говорил он, – на окраине стоит недостроенный дом. Его строил себе покойный рав Гершкович. После того, как неподалеку от перекрестка Шило арабы расстреляли его и всю его семью, дом стоит, разрушается. Так вот, я хотел бы, женившись на Офре, откупить этот дом, отстроить его, насадить вокруг сад...

– Твою избранницу зовут Офра? – спросил рав Элиэзер.

– Да.

– И живете вы в поселении Офра?

Ронен кивнул.

– Офра ми Офра, – задумчиво произнес рав Элиэзер, – Орфа из Орфы, – и Ронену показалось, что в голосе его под коркой участливости загустевает неодобрение.

– Кто у нее родители?

– Отец преподает в колеле, мать... у них девять детей.

– Понятно, – задумчиво произнес рав Элиэзер. Снова помолчал.

– И ты хочешь...

– Я хочу знать, что мне делать.

– Через пять лет? Или сейчас? Через пять лет жениться.

– А сейчас?

– Понимаешь, Цви, когда Святой, да будет Он благословен, отделил Хаву от Первого человека, – а до этого они были единым целым, также и все души Он поделил на половинки – мужские и женские. Не исключено, что эта Офра и есть как раз твоя половинка. Мазл тов!

Но прозвучало это «мазл тов» подозрительно тихо и грустно.

– Будет «но»? – спросил Цвика.

– Будет, – обескуражил его рав Элиэзер. Потом вздохнул горестно и продолжил:

– Вероятность того, что она и есть твоя половинка – не одна из десяти, а одна из десяти миллионов. Видишь ли, где-то по земле ходит девушка, которая одновременно и она, и ты. И среди миллионов надо найти именно ее. А в твоём возрасте обычно начинают искать ее по месту жительства. Как тот пьяный, который потерял кошелек вон там, в кустах, а ищет здесь, под фонарем. Здесь светлее.

– Что же делать? – растерянно спросил Цвика.

– Ничего. Сколько бы ты сознательно ни искал ее, времени у тебя все равно не хватит. И у других тоже. Так что положишься на Того, Кто делает браки на земле.

В этот момент, тактами сороковой симфонии Моцарта, запел мобильный телефон рава Элиэзера.

– Аллю. Что случилось? Что?! Иду-иду, сейчас поедem.

Он отключил телефон, привстал, шаркнув по стене мантией тени, взглянул на Цвику как-то смущенно, будто это он нарочно скормил сыну шекель, и сказал:

– Прости, дорогой. Мой Иегуда шекель проглотил. Надо срочно вести на рентген. А с тобой добеседуем завтра.

Цвика аж подскочил. Иегуда был семилетний сын Элиэзера.

– Как – проглотил?

– Да ничего ужасного, – улыбнулся тот. – Такие вещи случаются – как правило, всё само выходит.

Выходит, главное – выяснить, может, Офра все-таки и есть половинка его души. А как это выяснить? Вот он закрывает глаза, и всякий раз перед глазами Офрина каштановая грива. Это признак того, что она его половинка? Или нет? И когда под вечер налетает ветер и шуршит травой, уже подсохшей к концу *сивана* ему кажется, Офра шепчет, как тогда в комнате: «Я – это ты, ты – это я».

Он набрал номер Офры.

– Аллю? – послышался слегка мяукающий голосок.

Цвика представил ее в этот момент – одно слово – кошечка. Из мультяшек. И говорит так же. Ничего общего с той трагической красавицей, возле которой он тогда сидел на краю кровати.

– Цвика, – заговорила она, и голос ее напрягся, натянулся, как струна. – Цвика, у меня высветилось, что номер того, кто звонит, засекречен, но я знаю, что это ты.

Цвика почувствовал, что не может произнести ни слова.

– Я ждала твоего звонка, – продолжала Офра, – Я знаю, что ты мне хочешь сказать. Наступила пауза, и – перед тем, как дать отбой: отсоединиться?

– Я тоже люблю тебя, Цви!

– Цви-ка!

Он обернулся. Ноам, Шмулик и Итамар направлялись к нему.

– Цвика, мы тебя всюду ищем. Ты что, забыл?

Ах да, ведь сегодня договорились играть в баскетбол.

– Иду, иду, ребята!

Цвика повернул к ним, и все вместе отправились на площадку. Ноам на ходу ладонью отбивал мяч от земли.

Молодец Ноам, всё ему Вс-вышний дал – он ведь у нас вундеркинд – шестнадцать лет парню, а какие уроки по гмаре дает – взрослые только руками разводят да бороды чешут.

И мышцы – вылитый Самсон, хотя рав Элиэзер говорит, что у Самсона-то как раз – в отличие от Ноама – никаких бугров мышц не было. У него была не сила, а сверхсила. Сила, как пророческий дар, идущий не от сгустков мяса, как у какого-нибудь вшивого Шварценеггера или Геркулеса, а от Б-га.

– Ты знаешь новость? – спросил Шмулик, когда они вдоль проволочной сетки ограждения шагали к воротам. – Из Ливана в Газу арабы контрабандой доставили ракеты, бьющие в радиусе пяти километров.

– Ну и что? Об этом давно говорят.

– А то, что вроде бы им удалось эти ракеты через все блокпосты в Город провезти.

– Ну да! – поразился Цвика.

– Вот так-то. А первая мишень – сам знаешь кто – Ишув.

– Ну, до нас-то вряд ли добьют, – задумчиво сказал Ноам. – Мы ведь на горе. А вот нижним кварталам может придтись несладко.

– Пока это все же просто слухи, – с надеждой сказал Цвика.

Они встали в очередь друг за дружкой к баскетбольному кольцу. Каждый должен был провести мяч и забросить в кольцо. Конечно же, Ноам забросил с первого раза, и конечно же, Цвика промахнулся. Настала очередь Шмуэля, а Цвика оказался в хвосте очереди. Краем глаза он увидел, как у входа на баскетбольную площадку выросла фигура какого-то поселенца с автоматом. Ничего странного – поселенцы часто ходят с автоматами. Цвика вновь взглянул на Шмулика. Тот вел мяч к кольцу. Цвика следил за ним глазами, а где-то, между сознанием и подсознанием вдруг засвербило – что-то не так с этим поселенцем. Он взглянул еще раз. В руках у «поселенца» был не «узи», не «галиль» и не «эм-шестнадцать». В руках у него был «калашников».

– Террорист! – заорал во всю мочь Цвика.

Араб вздрогнул, перевел дуло со Шмулика на Цвику и нажал на курок. Суперскорый поезд мчавшихся друг за другом остромордых свинцовых вагончиков на мгновение соединил этих двух незнакомых людей, двух носителей образа и подобия Б-жьего, двух потомков Адама, двух потомков Ноя, двух потомков Авраама. А затем Цвика, крича от боли, покатился по шершавому асфальту, но всё медленнее, медленнее и, наконец, застыл, так и не решив, как быть с Офрой.

Трое остальных бросились на другой конец баскетбольной площадки. Вундеркинд и силач Ноам, не добежав до загородки, упал с размаху лицом на асфальт, получив пулю в затылок. Итамар и Шмулик, прижимаясь к сетке, огораживающей площадку, присели, скорчились и с ужасом смотрели, как к ним, сжимая автомат, не спеша приближается смерть.

За двадцать два дня до. 26 сивана. (5 июня). 21.15

Когда на баскетбольную площадку пришла смерть, я сидел у ребят в общежитии. После молитвы краем глаза увидел, как Ноам, Цвика и еще кто-то двинулись на площадку, но в этот момент Авиноам начал канючить: «Рувен, давайте в шахматы поиграем». Что тут делать! Мы с ним вошли в комнату, сели на койку – слава Б-гу, в их комнате они не двухъярусные так, что голову нагибать не приходилось. В шахматы я играю паршиво, но Авиноам еще хуже, хотя и обожает это дело. Поэтому, когда мне по жребии достались белые и мы расставили фигуры, я довольно-таки рьяно ринулся опустошать его ряды.

И тут до игрушечного поля боя донеслись реальные выстрелы. А затем заработал механизм, которым стал я. Сжимая «беретту», я помчался на баскетбольную площадку. Было темно, но площадку освещали прожектора, и в их свете, в их едком, неестественном, полном не существующих в природе оттенков, свете черным прорисовывался силуэт мужчины с автоматом.

Калаш! Значит, это – он.

В нескольких метрах от мужчины вырос какой-то странный бугор, а поодаль – еще один. Если бы в тот момент я не был механизмом, то, наверно, умер от горечи при мысли, что эти сгустки мертвой материи еще несколько секунд назад были живыми людьми, детьми, которых я призван защищать, и не важно, кто из них тут лежал, я всех их любил и люблю.

Но в этот момент была лишь информация: он здесь – он убил – он должен быть убит. Он должен стать третьим бугром неодушевленной плоти, присосшим к гладкой поверхности баскетбольной площадки. И никто вместо меня его таким не сделает.

Двоих других баскетболистов я тогда не разглядел. Я заметил их спустя мгновение, когда силуэт развернулся, и тишину, нарушаемую доносящимся из общежития криками перепуганных детей, прострочила еще одна очередь. Краем глаза увидав, как две фигурки, проседают у загородки, точно пытаются уйти в асфальт, я начал стрелять в него на бегу. Он, гад, прямо подскочил на месте, а затем как-то геометрически переломился, и я уже обрадовался, но рано. Убийца с натугой распрямился, развернулся в мою сторону, и мимо меня с треском понеслись пули.

И опять же – ни в коем случае не страх, а какой-то компьютер в башке скомандовал: «калаш» против «беретты» – никаких шансов – погибнешь бессмысленно, и дети останутся без прикрытия.

Меня развернуло, и я понесся в сторону общежития, а он за мной. Я нырнул между эшку-битами, завернул в комнату, ударился лбом о койку второго яруса и не почувствовал боли. Сжал в руке «беретту», ожидая, что он появится в дверном проёме, а он вместо этого появился в оконном, но не весь, а только его голова, глупая голова, в которую невесть откуда приперлась мысль перехитрить меня. Эта голова нуждалась в немедленной порции свинца, и я ей эту порцию великодушно предоставил. Я чуть палец не сломал о курок, с такой силой сдавил его, и у араба посреди лба расцвел красивый цветок, который при свете фонаря казался черным, а на самом деле был красным. Мой собеседник начал что-то бормотать, словно торопился объяснить мне нечто очень важное, однако я не стал его выслушивать, решив, что еще чуток свинцовой начинки пойдет его мозгам исключительно на пользу.

Моя «беретточка» послушно плюнула ему в голову еще пару раз, глаза ублюдка закатились, он несколько раз раскрыл рот, как рыба, выброшенная на берег, и провалился, исчез с экрана оконного стекла.

Вместо него – следующий кадр – возник с «узи» в руках учитель иврита Ави Турджеман, прибежавший, на звук выстрелов.

Честно говоря, над Ави мы всегда немного подсмеивались – он и на работу-то приезжал в бронезилете, походя одновременно на черепаху, броненосца и пациента зубной клиники в защитном свинцовом фартуке. А оказалось, нормальный мужик – слышав стрельбу, сразу примчался сюда.

Увидев улегшегося наземь террориста, он подскочил к нему и начал всаживать в беднягу заряд за зарядом. Тот первые пару раз дернулся, а потом, видно, решил поспать.

Потом появились вожатые, вызвали полицию. Она оформила дело, всё как водится. Совместными усилиями взгрустнули по поводу того, что школьному охраннику разрешен лишь револьвер. Предполагается, что из длинного оружия, как-то «узи», «эм-шестнадцать» и т. д. пуля, пробив террориста, воткнется ненароком в кого-нибудь из подопечных. А из «беретты» – погладит и дальше повальсирует.

Когда ребята высыпали посмотреть на убитого араба, один из них – Шарон Исраэли из двенадцатого класса спросил меня:

– Рувен, ты такой смелый – потому что веришь в вечную жизнь и не боишься смерти?

Тут я неожиданно вспомнил историю о том, как вел себя на допросе в ГПУ предпоследний любавичский ребе. Когда следователь направил на праведника револьвер, он сказал: «Этим вы можете напугать того, кто верит в один мир и множество богов. Я же знаю, что есть один Б-г и два мира»

Он имел в виду, что со смертью ничего не кончается, с чем я полностью согласен, но повлияло ли это на мои действия – не знаю. Может быть, на уровне подсознания, но не выше. Не отсутствие страха за ненадобностью, которое должно быть присуще религиозным людям, двигало мною и не бесстрашие бойца, но автоматизм.

Оставаясь ходячим автоматом, я приперся домой примерно в час ночи. Мой эрдель Гоша, увидев меня, поднял голову – дескать, где загулял, козел? – и снизошел с дивана, на котором, после моих бесчисленных попыток пробудить в нем совесть, ему было категорически разрешено валяться. Затем он подошел ко мне и повилал хвостовой культей, что должно было означать: «Фиг с тобой. Если уж не запылится, так и быть, можешь пройтись со мной по воздуху полчаса, не больше. Сейчас самое время» Я посмотрел на часы и решил, что время все-таки не самое.

– Щас! – ответил я и, приоткрыв дверь, добавил: – Марш, отдать честь ближайшему кусту и сразу же обратно! И вообще, не трогай меня. Я – герой. Я сегодня араба убил. Будешь много выступать – разделишь его судьбу.

– Ну и сволочь же ты, – с горечью посмотрел Гоша и отправился в сочащийся ночной тьмой дверной проем выполнять мою инструкцию. Правда, не поднял лапку, как я ему велел, а присел, как последняя сука. Возможно, этим самым он хотел намекнуть на мое место под солнцем.

– Ты у меня договоришься, – заметил я ему, когда он вернулся. – «Муму», небось, читал?

Он не стал обсуждать со мной нравственную сторону поступка немого слуги Герасима, утопившего по приказу злобной хозяйки несчастного пса, а улегся спать. Я тоже плюхнулся на койку, нажал на «off» и погрузился во тьму.

Следующий день прошел, как во сне. В памяти остались какие-то обрывки – еще и еще раз восхищение спасенных ребят, постоянные сводки из больницы по поводу раненых – Шмулика да Итамара, слава Б-гу, удовлетворительного, благодарные звонки матерей, как тех, чьи дети были ранены, но спасены, так и всех остальных. Кроме того, я узнал, что Управление охранной рассматривает вопрос о выдаче мне премии в пятьдесят тысяч шекелей, а также о немедленном предоставлении «квюта» – возможности работать без угрозы быть уволенным. А еще прибыли результаты экспертизы. Выяснилось, что среди бесчисленного количества «узиных» пуль, которыми Ави щедро нашинковал грудь и брюхо араба, были и две из «беретты», то бишь мои. Нет, это помимо тех, что я вогнал ему в голову. Но ведь через окно я ему в живот не

стрелял. Эти две пули попали в него возле площадки. И, оказывается, он, паразит, вместо того, чтобы, как порядочный, упасть и умереть, бегал с ними, палил в меня из «калаша» и так далее. Оборотень чертов. Эта мысль застряла во мне, спряталась, скрылась, чтобы позже расцвести ночным кошмаром. А пока...

Уроков в школе, конечно, не было – какие тут уроки, когда и ученики и учителя в истерике? В одиннадцать подошло два желтых автобуса компании «Шомрон Питуах». Притихшие дети и взрослые – и те и другие с заплаканными лицами – медленно поднявшись по ступенькам, ныряли в черную прохладу кондиционируемого воздуха. Затем их лица, приобретя, благодаря двойным пуленепробиваемым стеклам, синеватый оттенок, столь же медленно проплывали по салону и прирастали к окнам. Последним влез я, найдя себе замену на боевом посту. Нас повезли на похороны. Половину – в Офру к Цвике, половину – на Голаны, к Ноаму.

Пока мы ехали, в ушах все время звучал голос Цвики – как он поет «Мама, мама, что я буду делать...» Потом представилось, как мы оба хохочем. Ноама я почти не знал, а вот Цвика... Я почувствовал, как некая анестезия, полученная мною в момент перестрелки, вроде заморозки перед тем, как зуб дергают, начинает отходить, как мне вдруг становится невыносимо оттого, что я уже больше никогда не увижу этого мальчишки, не буду в его громадные глаза рассказывать всякие байки про жизнь в России... Да и Ноам. Гордость школы. Цвика, Ноам... Все они мне родные!

В доме Цвики, вернее, в их двухэтажной квартирке, толпились люди. Когда я вошел, мать его стояла посреди комнаты. Под глазами у нее были не черные круги, не черные пятна – нет, две пропасти. Ее обнимала девушка со щедро рассыпанными по плечам каштановыми волосами, длиннющими черными ресницами и пронзительно карими глазами. Цвикаина мать молчала, а девушка все время пришептывала: «Цвика... Мой Цвика... Что же ты, Цвика?!...» Это явно не была его сестра – она внешне ничем не походила ни на него самого, ни на его мать, ни на отца. Отец сидел в соседней комнате на кровати, обхватив голову руками, и слегка раскачивался. Справа и слева от него сидели родственники и друзья – мрачные бородатые поселенцы. В углу комнаты с каким-то ужасно виноватым видом примостился серый полосатый кот.

– Это уже третий, – заговорил вдруг отец, указывая пальцем на кота. – Один попал под машину. Другой куда-то пропал. Говорят, животные погибают вместо людей... Этот будет жить долго.

Он закрыл лицо руками и зарыдал.

Потом все пошли в синагогу. Рав поселения тихо поднялся на возвышение в центре зала. Наступила тишина, прерываемая лишь раздающимися с разных сторон всхлипами да тихим плачем родителей.

– Г-споди, – сказал раввин, глядя поверх голов. – Ну, сколько можно? Убивают нас... убивают наших детей? Когда же это все прекратится, а, Г-споди?

За двадцать дней до. 28 сивана. (7 июня). 22.30

На вторую ночь после убийств на баскетбольной площадке я проснулся оттого, что кто-то стучал в дверь моего эшкубита.

– Кто там? – крикнул я, не вставая с постели.

Никто не ответил, но стук возобновился. Даже стал настойчивее. Я подошел к окну, отстегнул застежку, отодвинул влево створку окна и высунул голову. Он стоял там. С «калашом». Во лбу его цвели черные провалы, морда была перемазана кровью, кровь сочилась и из пробитого пулями живота, однако на ногах он держался твердо и автомат сжимал в руках очень твердо. На сей раз, он был в чалме, и борода его вилась с такой интенсивностью, словно ее только что сняли с горячих бигудей. Луна светила как-то по – особенному ослепительно. Можно было рассмотреть каждый волосок. Я уставился на него, и он тоже меня увидел и дал очередь в окно. Пули пролетели мимо меня в темноту, куда я юркнул вслед за ними. В темноте я схватил «беретту» и несколько раз выстрелил через дверь. Думаю, не промахнулся, но звука падающего тела не последовало. Гошка забился в угол и завыл. Я замер.

Ногою, обутой в тяжелый бутс, араб легко высадил дверь. Я был наготове и залепил в него несколько пуль в упор, но он даже не дрогнул, а лишь направил на меня дуло своего «калаша». И я понял, что это – всё. Сейчас будет подведен итог моему сорокасемилетнему существованию. Так вот и прожил – когда-то пил чай с бабушкой и дедушкой на террасе подмосковной дачи, затем в московских подъездах – водку и «Солнцедар», прежде, чем последний был снят с производства и, возможно, засекречен как оружие массового поражения, дышал пробензиленным московским воздухом, баннным воздухом Тель-Авива и кристальным воздухом Самарии, а сейчас возьму – и дышать перестану.

Послышался треск автоматной очереди, и я ощутил такую боль, какую никогда в жизни и представить себе не мог – будто сама жизнь, рванувшись навстречу пулям, раздирала мою плоть, высвистываясь наружу. И луна – последнее, что я в этой жизни видел – стала меркнуть... меркнуть... но не померкла вовсе, а, лишившись своей ослепительности, осталась сверкать в окне, и я смотрел на нее, лежа в постели, не понимая еще, что проснулся.

Левой рукой я провел по своей груди и животу, как бы пытаюсь убедиться, что кожа цела, что пули, выпущенные из «калашникова» ее не пробили.

Г-споди! Это был сон, всего лишь сон, и я не только жил, я жив и буду жить, как Ленин, даже еще лучше.

Да, я знаю, что есть «аолам аба» – Грядущий мир – и что еврей, которого убили за то, что он еврей, получает его, что бы дурного он ни сотворил в жизни. И вообще наш мир есть коридор в иной, в лучший. Это, конечно, всё понятно. Но понятно ровно до того момента, как араб ногою, обутой в тяжелый бутс, высаживает дверь твоего эшкубита.

Не вставая с кровати, правой рукою я потянулся за мобильником, лежащим на стуле. Нащупав его в темноте, я нажал на кнопку включения. Вспыхнул зеленоватый экран, и на нем появилась надпись на иврите «Реувен» – то бишь я – а над нею в верхней кромке экрана жалобно прижались крохотные к слепоте ведущие цифры один пятьдесят семь.

Меня, невесть почему, начала бить жуткая дрожь, отголосок сна, вернее то, что казалось мне отголоском сна, а потом я понял, что это позавчерашний страх, запоздавший на баскетбольную площадку, догоняет меня, чтобы утянуть назад.

Пытаясь отвлечься от своих мыслей, я еще раз вонзил взгляд в экран и обомлел: на нем было час тридцать семь. Я зажмурился и тряхнул головой. Один тридцать семь... один тридцать шесть... один тридцать пять...

– Гоша, – позвал я. – Но Гоша исчез.

– Рувен... – послышалось. – Рувен...

Сначала я не понял, чей это голос. Потом понял – Цвикин. Слабый такой голос.

– Что, Цвика? – спросил я.

– Очень жить хотелось, – ответил невидимый Цвика и заплакал.

У меня сдавило горло. Через несколько мгновений плач стих. Луна – блеклая, жалкий отблеск той, что была во сне – медленно поползла по горизонту. Комната закружилась, и я вновь с «береттой» в руках очутился на тропинке между баскетбольной площадкой и общежитием. Я вновь убежал от террориста. Но сейчас я был уже не механизм, а живой человек, умирающий от страха, и самое главное было – бежать, бежать, бежать – бежать куда глаза глядят, и вовсе не для того, чтобы дальше драться, а только бы спастись.

И тут – очередь. Я почувствовал, как земля, поросшая рыжею шевелюрой травы, поднимается мне навстречу, и мое лицо вжимается в нее, и вот я уже не могу дышать и из последних сил пытаюсь оторвать от нее лицо, приподнять голову, и вижу – это подушка. Я дома, я в своем эшкубите, а в окне... а в окне нет никакой луны.

Куда она, зараза, делась? Я подскочил к окну. Нет, слава Б-гу на месте. А который час? Я посмотрел на мобильник и обомлел. Три пятнадцать. Это что же, я больше часа с четвертью с телефоном в руке ворочался? А ведь сон был какой-то мгновенный. Может, я ошибся? Я еще раз взглянул на телефон и понял, что действительно ошибся. Только в другую сторону. Было не три пятнадцать, а четыре пятнадцать. Пять пятнадцать... шесть пятнадцать...

Меня опять закрутило, кровать исчезла, и я оказался в кресле, обтянутом синим с красными и желтыми вкраплениями чехлом. Снова сон, которому суждено было через двадцать дней стать явью. Я сидел в голубой «Субару» рядом с Шаломом. Мимо пролетел дом с мозаичной мечетью, особнячок с антенной в форме Эйфелевой башни, коровья шкура... Машина, поднимая пыль, двигалась по узкому переулку через арабскую деревню.

Восемнадцатое таммуза. 15.40

Машина, поднимая пыль, движется по узкому переулку через арабскую деревню. Двухэтажные каменные дома, а вокруг – ни цветочка. Всё это уже было, правда, не наяву, а в том кошмаре, который привиделся мне через ночь после побоища.

«Форд мондео» летит впереди нас, временами подскакивая, как каяк на излучине в верховьях Иордана. Через несколько мгновений на тех же камнях подскакивает и наша «Субару». Ах, если бы в том сне я разобрал, что гонюсь за белым «фордом-мондео», а потом наяву опознал бы его на улице нашего поселения. Впрочем, представляю:

– Аллю, полиция! Тут мне сон привиделся...

Но шутки шутками, а я помню вот этот напоминающий пагоду особнячок с черепичной крышей, увенчанной антенной в виде Эйфелевой башни, я знаю, что будет вон за тем углом. Там, на крючьях, торчащих из бурой каменной стены, висит коровья шкура. Мы заворачиваем. Пожалуйста, вот она – скукоженная, потерявшая свой цвет от солнца. Корову, небось, зарезали уже давно – и ели тайком от оголодавших за время блокады соседей. В былые времена арабы забивали и свежевали коров и лошадей прямо на улице, на глазах восхищенных ребятишек. Там же совершалось и разделывание туш. Однажды, проезжая через арабскую деревню, я видел, как аксакал в белом уборе, похожем на чепец, отпиливал бурёнке голову, а пацаны вокруг что-то радостно кричали.

Так жили арабы. Но не в радость было им мясо – евреи портили настроение. Вот и начали они эту войну. А война всегда война. От евреев пока избавиться не удалось, а вот от мяса... Жалко их, дураков. В дурацком мы положении – гонимся за ним при том, что местность он знает куда лучше нас. Вихляющие переулки, сужаясь у нас за спиной, уходят в бесконечное прошлое. Я потерял счет (по правде говоря, и не пытался считать) проносающимся справа и слева грязно-белым зданиям, которые в жизни бы не назвал деревенскими. В окне машины вспыхивают и гаснут живые картинки, которые не время рассматривать – подросток в боковом переулке, ведущий под уздцы низкорослую белую кобылу, открытый гараж, где на фоне старенького «Мерседеса» два араба сидят на табуретах и задумчиво курят, еще один араб, в шляпе, забрался на огромную глыбу и обтесывает ее киркой.

«Форд» выскакивает на проселочную дорогу. Мы – за ним. Как всегда, в машине Шаломы нестерпимо жарко и душно, как всегда, окна задраены, как всегда, кондиционер не работает.

– Рувэн! Ест у тэб'а што-то курит.

Вопросительная интонация в голосе Шаломы практически не слышна. Неужели они на английском всегда так вопросы задают?

Я угощаю его сигаретой. Зажигаю огонь и вновь смотрю в окно. Расстояние между нами и «фордом мондео» начинает сокращаться, и я, не спрашивая разрешения у Шаломы, открываю окно, высовываю в него свою «беретту», но не стреляю. Если солдаты чутко откликнутся на выстрел, в тюряге окажемся мы, а он смоемся. Поэтому, если бить, то наверняка. С другой стороны, я понимаю, что он сейчас отколет еще какой-нибудь трюк. Проблема ведь в том, что не только мы его раскусили, но и он нас. То есть он раскусил, что мы раскусили. Следовательно, добра от встречи с нами он не ждет и встречи этой всеми силами пытается избежать. А местность он знает лучше, чем мы, значит, стрелять надо сейчас, а не то уйдет и уже наверняка. Шалом понимающе кивает и берет чуть левее, чтобы я мог выстрелить. Я палю – и мажу. Скорость все-таки. «Форд» срывается с «шоссе» и едет по относительно широкой террасе между олив. Мы, естественно, следом. При этом и мы, и он все равно замедляем ход, поскольку терраса, хотя и широкая, но относительно, очень относительно, к тому же врезаться в оливу – а они здесь старые, толстые, кривые – можно только так. Из-под колес летят комья вспаханной сухой земли, Вся-то террасочка длиной примерно сто метров. Она оканчивается каменной кладкой,

но метрах в трех перед нею торчит гряда серых пористых глыб, из расселин между ними свисают сухие корни и сухие стебли каких-то вьющихся растений. У этой гряды его машина останавливается. Расстояние между нами – метров сорок, не больше. Мы уже ликуем, но тут очередь прошивает лобовое стекло нашей «Субару». Пули проходят между мною и Шаломом и, сказав «гудбай», удаляются через заднее стекло. Ни фиги себе! Значит, у него есть автомат... Судя по звуку, тоже «эм-шестнадцать». Интересно, как он его провозит через блокпосты? Ведь разрешения на оружие у него наверняка нет. Неужели не боится проверок? Эти мысли проносятся у меня в голове в тот момент, когда мы с Шаломом инстинктивно пригибаемся. При этом Шалом не забывает нажать на тормоз. Положение у нас, прямо скажем, аховое. Он уже выскочил из своей машины, и целится, прячась неизвестно где. Может, за какой-то оливой, скажем, вон той, с черными выемами под стать дыркам в камнях, может, за одной из этих здоровенных глыб. Если мы сейчас вывалимся в разные стороны, оба окажемся перед ним на ладони, но один из двоих при этом, может, и уцелеет. А вот если мы еще на секунду задержимся в кабине, тут-то он нас обоих точно чпокнет.

За двадцать дней до.28 сивана. (8 июня) 9.00

«Он нас чпокнет...» – закричал я во сне и проснулся от собственного крика. Всё, что мне виделось или привиделось, стало чернеть, рассыпаться в прах и уноситься потоком из памяти.

Утренний туман давно уже приказал долго жить, поскольку было уже девять часов. На работу идти не нужно было, – пятница, ребята уехали еще вчера. А утреннюю молитву в синагоге я безнадежно пропустил.

И вот я, умывшись, одевшись и безжалостно обстреляв себя дезодорантом «Клео», приступаю к беседе с Творцом. И что с того, что слова всегда одни и те же – я-то каждый раз другой.

Главное, никогда не знаешь, на какой строчке молитвы начнется парение. Сегодня это – самое начало «Шмоне эсре»:

«Благословен ты, Г-сподь, наш Б-г,
Б-г отцов наших,
Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г Якова...»

Взгляд уходит куда-то вверх, и ты физически ощущаешь, что Он, невидимый – там. Над тобой вырастают фигуры праотцев.

Они – немножко ты и немножко – Он. То есть они – ключ к Нему. И ты уже рядом с ними и рядом с ним.

«Б-г великий, могучий и грозный...»

Перед тобой раскрывается космос, и твой недавний Собеседник вырастает во всю свою бесконечную величину, а ты начинаешь уменьшаться до размеров бесконечно меньших, чем самая бесконечно малая песчинка.

«И помнящий благие дела отцов,
И приносящий избавление сынам».

Да ведь этот Бесконечно Великий меня, бесконечно малого, любит.

И защитит. И бояться нечего.

Тут я действительно успокоился и даже рельефное воспоминание о ночном кошмаре с мертвецом, равно как и смутное воспоминание о какой-то пригрезившейся мне погоне, не помню с кем и за кем, всё это малость померкло.

Затем, правда, засвербило: «А Цвика с Ноамом? Их Он, что, не любил?» В воздухе нарисовалось лицо Цвики, веселого, того, каким я его помню.

И все-таки, эта мысль не могла помешать разливающемуся по телу, вернее, по душе, блаженству защищенности, чувству, что всё, решительно всё, что Он делает – правильно, а значит, всё в порядке, как бы страшно оно ни казалось со стороны.

В общем, к концу молитвы я уже полностью пришел в себя. Но не успел произнести заключительные слова – «Г-сподь един и имя Его едино», как раздался стук в дверь. Гошка залаял и бросился встречать гостя.

– Входите! – крикнул я ему вслед.

Дверь эшкубита распахнулась и появился Йошуа. Йошуа – brasлавский хасид. Внешне это выражается в том, что на голове у него большая белая кипа с маленькой кисточкой. Вернулся к Торе восемь лет назад. До этого был художником, а по слухам еще и хиппи. Художником он и остался, но картины сейчас пишет, разумеется, совершенно иные, чем до Тшувы. Я видел одну из его старых картин – не собственно картину, а репродукцию с нее в каталоге какой-то стародавней выставки. На картине – фантазмагория бесчисленных нагих торсов обоих полов, безголовых, безруких и безногих. Хаос венер милосских и соответствующих аполлонов. Вернувшись к Тшуве, Йошуа замолчал как художник и молчал довольно долго, несколько лет, пока некий религиозный гипнотизёр-психоаналитик не ввел его в транс, во время которого он увидел себя в какой-то из прежних реинкарнаций стоящим у горы Синай. После этого его

прорвало. Он начал писать картину за картиной. Названия говорят сами за себя – «Подготовка к откровению», «Души у горы Синай».

Я верю, что его путешествие в прошлую жизнь – не шарлатанство. Тем не менее, я не в восторге от его «синайских» картин. Это, конечно, не реализм в чистом виде, но все-таки они какие-то репортажные; материал явно подавляет художника. Я же, человек грешный, привык главным материалом для искусства считать душу автора, а потом уже реальность которую я и без него могу на вкус попробовать. Поэтому, когда он спросил мое мнение, я плюнул ему в душу, сказав: «Слава Б-гу, что ты к Синаю видеокамеру не прихватил». Ко всему прочему Йошуа жуткий жмот. Ни мне, ни Шалому, никому за всю жизнь он не подарил ни одной картины. Однажды я намекнул ему, что мы где-то как-то друзья, и я, мол, не собираюсь отказываться от дружеского презента. Он почесал пепельный затылок и ответил:

– У Гофмана есть повесть – возможно, первый в истории детектив – не помню, как называется. Так там главный герой – ювелир, влюбленный в свои творения. Он вынужден, дабы не умереть с голоду, продавать свои шедевры – всякие там перстни да колье, а потом ночью где-нибудь подстерегает человека, купившего их, убивает, а драгоценности забирает обратно. Ты ведь не хочешь, чтобы я Гошу осиротил?

Йошуа почесал Гошу за ушами, и тот, получив своё, удовлетворенно растянулся на диване.

– Кофе? Чай? – спросил я, не будучи уверен, что у меня есть что-либо из вышперечисленного.

Кофе нашелся. Сделав несколько глотков, Йошуа протянул мне руку. Правда, левую. Во-первых, потому, что левша, а во-вторых, потому, что правую ему недавно прострелили на нашей дороге. Теперь правая перебинтована, причем цвет бинта заставляет заподозрить, что со дня ранения его ни разу не меняли. С чувством пожав мне руку, Йошуа торжественно провозгласил:

– Я уже слышал, что случилось. Молодец! Прости, вчера не смог зайти. Уезжал из Ишува. Затем, после небольшой паузы, спросил:

– Страшно было?

– Да, – сказал я. – Особенно сегодня ночью.

– Сейчас будет еще страшнее, – обнадежил он меня. – Пошли.

Он залпом влил в себя остатки кофе и встал, словно собираясь выйти.

– Куда? – удивился я, не двигаясь с места.

– Ко мне. Кое-что покажу.

– А словами объяснить не можешь?

– Не могу.

– Слушай, Йошуа, – протянул я лениво. – Я старый, больной. Чем тащить меня к себе через всё поселение, объяснил бы лучше, что произошло. Ты, конечно, без машины, а живешь высоко. Мне переться...

– Вот именно, – подтвердил он. – Живу высоко. Вас всех сверху обзираю...

Что-то в его словах и в голосе дало мне понять, что говорит он не просто так.

– Ну.

– И арабы все внизу.

– Ну, так что?

– Ничего. Уж больно хорошо арабы все знают. Когда я еду. Куда я еду. Откуда им это известно?

– Не понимаю, к чему ты клонишь?

– Да что ж тут непонятного? Бывают нормальные интернаты. Там дети в десять вечера на баскетбольных площадках не скачут. Это только ваш рав Элиэзер все играет. В демократию.

В других местах после отбоя все сидят по комнатам. Особенно теперь, когда война. Все это знают.

Вы не находите, что мой друг очень ясно излагает свои мысли? Старое доброе «В огороде бузина, а в Киеве дядька» – вершина логики по сравнению с его бредом.

– Ничего не понимаю, – честно признался я.

– Не переживай. Это сейчас лечат, – успокоил меня Йошуа. – Короче, скажи – откуда арабы узнали про порядки в «Шомроне»? Ну, что у вас не как в других интернатах. Что здесь можно устроить бойню.

– А кто сказал, что они это знали? Может, этот тип наугад пришел?

– Наугад? Чтобы наткнуться на запертые двери? На пулю охранника?

– А может, он вообще не в ешиву шел?

– Конечно! Он шел в Ишув. В жилую часть. Вышел из деревни – она от поселения в трех метрах. А поселение не огорожено. Сделал крюк в три километра. Чтобы зайти туда, где никто не живет. Нормальные-то ешивы в такое время уже заперты. Это известно всем. А значит, и арабам. Чего же он туда поперся?

– Так ведь именно там его и не ждали! – воскликнул я.

– Нигде не ждали, – отрезал Йошуа. – Мы, поселенцы, такой народ. Когда кого-нибудь из нас убьют – начинаем чесаться. А прежде – ни-ни!

Это верно. Уже когда начались нападения на другие поселения, я физически не мог себе представить, что вдруг у нас да случится такое. Что вот по этой дорожке, мощеной серым кирпичом, да мимо этого рожкового дерева, засыпавшего плоскими, похожими на бумеранги плодами, всю окрестность, могут топтать бутсы террористов? Что здесь, вот в этой тиши загремят автоматные очереди?

И тут я отключился. Йошуа еще что-то с жаром говорил, а я вдруг вспомнил, что до того, как араб расстрелял в соседнем поселении целую семью, я каждый вечер отправлялся спать, как только глаза начинали слипаться. Иногда за два часа до прихода ночного охранника. Это знали все – и никто. А что было бы, если бы нападения на поселения начались с нашей баскетбольной площадки?

– Рувен, тебе плохо? Что с тобой? Ты бледен, как майонез «Каль».

– Ничего, ничего, все в порядке. Просто голова закружилась. Наверное, с перепоею. Повтори, пожалуйста, что ты сейчас говорил?

– Что у араба была информация. Точная. Где бывают дети в десять вечера. Где обычно в это время охрана.

– И откуда же такая информация. Арабы у нас в поселении уже не работают.

Йошуа молчал.

– Иностраный рабочий?

Йошуа пожал плечами. Воцарилась тишина. Я достал сигарету. Йошуа, который терпеть не мог табачного дыма, сейчас не стал меня останавливать. Я уговорил эту сигарету в несколько затяжек и после каждой пепел, нараставший серыми башнями, падал на давно не метенный пол.

– Это не может быть поселенец, – сказал я.

– Это не может быть поселенец, – подтвердил Йошуа.

Молчание, которое длилось целую сигарету, не распалось, а только вздрогнуло от нашего коротенького диалога. Меня же он вдруг рассмешил своей торжественностью и ритмичностью. Захотелось сбавить пафос.

– Слушай, напридумывал ты тут всего.

Он вздохнул.

– Я обещал кое-что показать. Пошли.

В отличие от меня, Йошуа жил не в эшкубите, а в «караване». То есть раньше он жил в доме, но сейчас на вершине горы были поставлены несколько новых караванов – так мы метр за метром расширяем поселение – и он переехал в один из них.

Когда мы вошли, он включил компьютер, повилял и пощелкал «мышью», а затем подзвал меня:

– Смотри.

Я взглянул на решетку ивритских букв и остолбенел.

«Кровавые убийцы!

Сионистские выродки, безжалостно расправившиеся с палестинскими патриотами!

Кальман Фельдштейн

Уриэль Каалани

Тувия Раппопорт

Йошуа Коэн

Иегуда Рубинштейн

Ури Броер

Барух Гец

Малахи Нисан

(следовало еще около десяти имен)

Союз Мучеников Палестины приговаривает вас к смертной казни. Ждите и трепещите! Наши бойцы уже получили приказ о вашем уничтожении.

Вас постигнет судьба Таля Акивы, Леви Пельцера, Шмуэля Новицки и Йосефа Мессики, которые уже казнены по нашему приговору.

Всех ждет неотвратимое возмездие. Будьте прокляты!

Исполнительный комитет

«Союза Мучеников Палестины»».

Вот это да! Я-то думал, мы для них все на одно лицо, что поселенцы, что тель-авивцы, что левые, что правые – то есть понятно, что левые для них полезны в плане достижения «окончательного решения», но любят они всех нас одинаково.

А оказывается, истребление евреев, ведется по двум параллельным путям. С одной стороны, самоубийцы взрываются в кафе, дискотеках, просто на перекрестках, в общем, на кого Б-г пошлет. Играйте, евреи, в еврейскую рулетку, если иные еврейские игры вам не по душе.

С другой стороны, оказывается, у них есть черные списки. То есть бывает, что снайперов своих они отправляют стрелять в кого попало, а бывает, что охотятся за каким-то конкретным евреем.

Интересно, кого они выбрали в качестве мишеней? Ну, скажем, Тувия Раппопорт вряд ли с кем-то мог жестоко расправиться. Тяжелый инвалид после войны Судного дня, он еле передвигается на скрюченных ногах. Вместе с тем, и в этом он, несомненно, провинился перед арабами, Раппопорт ведет активнейшую политическую деятельность, постоянно организует демонстрации против отступления к границам шестьдесят седьмого года и превращения Страны в хорошо простреливаемый пляж. Отягчающим обстоятельством является то, что его брат – крупный ликудовец, достаточно насоливший арабам, и те ждут – не дождутся, когда можно будет спросить с ехидцей:

– Пинхас, где брат твой Тувия?

Некоторые имена я видел в первый раз. Возможно, речь шла о каких-то охранниках супермаркетов и ресторанов в крупных городах Израиля, которые в разное время и в разных местах предотвращали теракты или ликвидировали террористов. Возле каждого имени стоял точный адрес, и из адресов этих явствовало, что большинство приговоренных – поселенцы.

Но я здесь адресов приводить не буду. Не хочу, чтобы имена наших поселений у израильтян, читающих эти строки вызывали ужас! Не хочу, приглашая друзей, слышать традиционно-убийственное «нет, уж лучше вы к нам!»! Не бойтесь навестить нас – годами здесь жить опасно, а приехать в гости – не страшнее, чем зайти в кафе в Тель-Авиве. Сейчас, когда арабы мечтают растерзать нас, а наши политики готовы отдать на растерзание, именно сейчас нам так нужна ваша поддержка. Не предавайте нас. Мы ваши братья.

* * *

Давайте на минуту прервемся, и я кое-что добавлю к рассказу об Иошуа. Тридцатого сентября прошлого года, когда с начала войны, официально именуемой интифадой Аль-Акса, минул ровно год, Иошуа пришел к раву Рубинштейну покупать «арба миним» – «четыре вида растений», которые используются в ритуале праздника Суккот. И вот в тот момент, когда он вертел в руках бледно-желтый этрог, с улицы раздался детский вопль: «Арабы!» Иошуа схватил свой «эм-шестнадцать», а рав Рубинштейн – свой «узи». Они выскочили из дому и увидели толпу арабов, которые шли в Ишув, вооружившись палками, ножами, а некоторые – ружьями. Иошуа и рав Рубинштейн стали стрелять сначала в воздух, затем поверх голов, а потом уже под ноги идущим на них. Последний аргумент возымел действие, и гости повернули назад. Вдруг один из них без всяких выстрелов картинно взмахнул руками и начал проседать, а второй не менее картинно – ведь все фиксировалось на видеопленку – подхватил его. Вместе они напоминали входившую в какой-то из советских мемориалов скульптурную группу, которая официально называлась «Знамя не упадет», а народ окрестил «Вставай, магазин закроется».

Тут же послушно заголосила оказавшаяся рядом родственница свежестреленного, и к вечеру растиражированная отечественными и зарубежными СМИ картина героической смерти и трогательных похорон жертвы еврейских извергов облетела весь мир. На следующее утро Иошуа и рав Рубинштейн уже находились за решеткой. Правда, тут же выяснилось, что никаких доказательств убийства, кроме показаний самих арабов и красивого видеоклипа, не имеется.

Иошуа и рав Рубинштейн искренне недоумевали каким образом их пули, пущенные сначала поверх голов, а потом в землю метрах в двадцати от «жертв», могли зависнуть в воздухе, покружиться, а через несколько минут поразить несчастного, причем в тот момент, когда он был вне досягаемости выстрела.

Полиции было предъявлено медицинское заключение, составленное арабским врачом. Эксгумации семья усопшего не допустила.

Следователи оказались в сложном положении. С одной стороны, мировая общественность и израильские правозащитные организации склонны были верить арабам. Пресловутые кадры похорон в Дженине, когда случайно вывалившийся из гроба труп резво прыгал обратно в гроб, еще не запестрели на экранах телевизоров. С другой, белые нитки настолько торчали во все стороны, что «злодеев» помуржили немного в каталажке, а затем выпустили – сначала на поруки, а там и на все четыре стороны, закрыв дело за недостатком улик.

После этого в Иошуа дважды стреляли – в первый раз, когда он ехал на своей машине, второй раз – на *тремпе*, попутке. В первый раз промахнулись. Второй раз пуля пробила ему правую ладонь, и теперь всякий раз, когда, общаясь со мной, он, жестикулируя, делал какое-нибудь резкое движение рукой, обмотанной грязным бинтом, то морщился от боли.

– Когда меня выпустили из тюрьмы? – спросил Иошуа, откинувшись в сером кресле, словно сошедшем с картины «Ленин в Горках». – Пятнадцатого сентября, – ответил он сам себе, а затем продолжал. – В начале октября я наткнулся на свое имя в списке. Предположим, оно появилось там немного раньше... ну на несколько дней... и что? А ничего. Я жив и здоров. На дорогах стреляют вовсю. Из нашего ишува убили рава Шауля, из соседнего – Ури Люксем-

бурга. Ранены Гарсиа, Куперберг, Равив! А сколько обстреляли, да промазали! Никто из них ни в какие списки не попадали, и вот – пожалуйста. А я езжу и хоть бы что.

Смотрим дальше. Перейдем на еврейский календарь, так удобнее. Прошли *шват, адар, нисан*, половина *ияра*. Вдруг семнадцатого *ияра* – бабах! Неделю назад – еще раз! Очередь, что ли, дошла? А теперь сопоставь все это с информацией о балагане, который творится в «Шомроне».

– Ничего не понимаю. Что ты конкретно хочешь сказать?

– Конкретно? Что два покушения подряд – это уже подозрительно. Особенно, если приговор торжественно вынесли заранее. Как только им удалось кого-то внедрить в Ишув, они начали охоту. За мной. А заодно и рассчитали все точно с «Шомроном».

– А рав Рубинштейн? Что с ним? – спросил я.

– Весь *сиван* мотался по Америке. Собирал деньги на ешиву. После Песаха стреляли в его машину. Не попали. А сейчас, говорят, собирается переезжать в Маале-Иегуда. Там у него ешива.

Я опять потянулся за сигаретой. На сей раз Иошуа мягко взял меня за руку.

– Не надо.

Не надо, так не надо.

– Слушай, Иошуа, а зачем им такие сложности?

– Им нужно сломать нас. Одно дело – массовый страх, другое – индивидуальный. Пусть наша жизнь превратилась в сплошную игру в рулетку. Пусть у нас и мысли не возникнет об активном вмешательстве в собственную судьбу. Пусть одни кричат по ночам: «За мною охотятся!», а другие утирают пот со лба: «Слава Б-гу – не за мной!» Это должно войти нам в поры! Это должно довести нас до полного паралича! Так что, когда очередной Рувен Штейнберг пойдет с «береттой» против «калашников», подсознание заорет ему: «Назад!» Или просто схватит за ноги.

– Ты думаешь, они такие тонкие психологи?

– Не знаю. Для чего им вообще нужен террор? Это что психологическая война? Тогда первыми уничтожают тех, кто сопротивляется. Это просто выход ненависти? Террор ради террора? Геноцид ради геноцида? Как у Гитлера? Все может быть. Но даже, когда они объявляют перерыв в терроре, то всегда подчеркивают – это не относится к солдатам и поселенцам. То есть, может, каким-то евреям и позволят жить, но поселенцы – исключены.

Я задумался.

– Значит, цель – поставить весь народ на колени, превратить в ничтожества, в тараканов, которые расползаются по щелям. Иными словами, уничтожение Вечного народа при помощи вшивой странички Интернета. Не смело ли?

– Пока им нечем похвалиться. А вот – не дай Б-г! – перегонят все имена из верхней колонки в нижнюю. Сделают наказание действительно неотвратимым. Тогда сей факт заботливо донесут до сознания каждого израильтянина.

– Пока всё логично. Дальше что?

– А дальше – раввины учат нас: в математике один плюс один равняется двум. В жизни – одному. Складываем два факта – получаем третий. И факт этот простой – следующим в списке будет Рувен Штейнберг.

Дверь распахнулась. На пороге стоял араб с «калашниковым». Тот самый – с дыркой во лбу. Кровь из этой дырки стекала по переносице на щеку, словно алая слеза. В глазах застыло выражение боли пополам с мольбой и еще – какой-то отчаянной беззащитности, как будто не он только что гонялся за детьми и взрослыми с автоматом в руках, а, наоборот, его затравили и теперь ни за что ни про что собираются убить. И вот, с видом затравленной жертвы, он достает «рожок»...

За двадцать дней до. 28 сивана. (8 июня). 11.30

Им меня не достать! Стоило мне выйти из «каравана» Иошуа на солнышко, посмотреть на горы да на то, как ветвятся, вырастая друг из друга, перевалы – как тут же выяснилось, что все не так уж паршиво. До своего эшкубита я уже добежал, чуть ли не вприпрыжку.

– Им меня не достать! – сказал я Гоше. Гоша подошел, виляя тем, что добрые люди оставили ему от хвоста, и лизнул меня в лицо.

Родился Гоша в Петербурге, а в Израиль его привезли пятимесячным щенком шесть лет назад. Когда спустя полгода после приезда хозяева подали на развод, Гоша оказался единственным алмазом в совместно нажитой сокровищнице, который каждый из супругов щедро уступал другому. Тут подвернулся я, потихонечку свихивающийся от одиночества, и ситуация разрешилась к радости всех троих, но не Гоши. Он тосковал по своим двуногим родителям, скулил целыми днями, отказывался от еды и, простите за жалкий каламбур, смотрел на меня волком. Сначала даже не позволял гладить, оскаливался, затем какое-то время, стиснув длинные острые зубы, стойчески переносил мои ласки, и, наконец, настал день, когда он впервые лизнул меня в губы – точь-в-точь, как сейчас.

Я обожал это лохматое, навязчивое, суматошное чудо, которое, стоило мне войти в комнату, начинало прыгать вокруг меня, как сумасшедшее, повизгивая от глубины экстаза.

Но я отвлекся. Итак, им меня не достать.

Не помню сейчас, какие светлые идеи дурманили мой разгоряченный мозг. Но одна из них, сладкая, как конфета, пела мне, что рав Рубинштейн жив и здоров, а значит, ОНИ берут нас на пушку. К этой мысли подключалась следующая, до приторности ласковая. Вылизывая меня, как щенок, она при этом шептала на ухо:

– С чего вы вообще взяли, что в *Ишув* работает какой-то их агент. *Штудет!* Глупости!

Итак, поселенцы исключены. Кто еще остается? Иностранцы рабочие? С ними жители *Ишува* очень мало общаются. Ведь для такого агента задача номер один – знать, кто что в *Ишув* собирается делать завтра. Иностранец, да без знания языка – что он тут выяснит? А кто еще на мушке наших подозрений? Сотрудники *моаца эзорит* – Районного совета. Среди них люди разные – есть из Петах-Тиквы, есть из Од-А-Шарона, есть из Рош-А-Айна, есть из Городка. Но ведь они в этом Совете в собственном соку варятся, и к тому же все на виду. А в четыре часа дня спецавтобусом уезжают из *Ишува* – много в этих условиях наспионишь?

На этой ноте обе идейки-утешительницы лапками утерли пот с мохнатых лобиков и отправились спать, а на вахту заступила третья, верткая, как змейка. Она уселась подобно удаву из советской мультяшки, облокотилась раздумчивой мордой на хвост, как на ладонь, и начала рассуждать гнусавым голосом:

– Ну, хорошо, предположим, у них есть агентура. Ну, и как им тебя заполучить? У тебя нет машины, выезжаешь ты из Ишува редко, а если едешь, то на автобусе, защищенном от пуль. Когда нет автобуса, ты берешь *тремп*. Так ты же не будешь об этом давать объявление в «Кешер амиц» – ишувской газете. Или ты думаешь, они по твою душу в сам Ишув явятся? Это ведь *ишув*, а не квартал в Городе, пропитанный пылью и вонью от никем не убираемых дохлых собак и кошек. Здесь для араба каждый шаг – как по канату. Он с автоматом крадется в темноте и смотрит, где дети бегают. Туда он и заходит. Будет он ломиться в запертую дверь, поднимать шум, чтобы подсесть на пулю одного из сбежавшихся поселенцев вместо того, чтобы насаживать их на свои пули.

Нет, им меня не достать!

От неожиданного стука в дверь я весь тут же покрылся потом, будто меня завернули в мокрое полотенце. Вот тебе и смельчак. Вот тебе и оптимист!

Нет, конечно, это был не араб с автоматом, а Хаим, наш учитель английского. Хаим – йеменский еврей. Он хромает – по одной версии после ранения в Ливане, по другой – от полиомиелита. Он еще миниатюрнее, чем я, и такой же живчик. Сейчас у него наблюдалось явное повышение температуры на почве бешенства. Бешенство хлестало из его карих глаз, неразбавленное, какое бывает только у южного человека. На суперсмуглых щеках проступал румянец, что придавало им фиолетовый оттенок.

– Что случилось, Хаим?

– «Что случилось? Что случилось?» Где ты бегаешь? Дома тебя нет, мобильный закрыт!

– Мобильный был на подзарядке. Я его ночью включил и забыл выключить, вот он и разрядился.

– Ну вот! Мобильный закрыт, сам торчишь невесть где, а тем временем в Ишув явился корреспондент «Маарива»!

Вот оно! Значит, укрыться не удастся. Теперь мое имя расщебечут воробьи по всей стране, и...

«...Кальман Фельдштейн

Уриэль Каалани

Тувия Раппопорт

Иошуа Коэн

Иегуда Рубинштейн

Ури Броер

Барух Фельдман

Малахи Нисан

.....

Рувен Штейнберг»

Араб с автоматом проступил на фоне облупившейся грязно-белой известковой стены за спиной Хаима. На этот раз он был совсем не похож на призрак – высокий, без кровоподтеков на лбу. Он передернул затвор «калаша» спокойно, как бы оценивающе взглянул на меня, улыбнулся и начал целиться. Я заставил себя, отвести взгляд и «врубиться» в то, что говорит Хаим.

– ... и ты понимаешь, они уже идут к машине, а я слышу, как он говорит: «я, говорит, побежал, выстрелил, вон там были ребята...» гляжу, а этот корреспондент начинает фотографировать – сначала площадку с разных ракурсов, а затем Турджемана с автоматом. И тут я понял.

– Что ты понял? – я настолько впился всем своим существом в то, что говорил Хаим, что если бы сейчас меня ударили по ноге, наверно, не почувствовал бы.

– Турджеман сказал корреспонденту, что это он застрелил террориста! – театрально выкрикнул Хаим, по-римски воздев правую руку.

– Что?! – я аж подпрыгнул от радости. Призрак исчез.

– Вот именно, – удовлетворенный моей реакцией, произнес Хаим. – Я тоже ужасно возмущен.

– Да нет же! – заорал я. – Продолжай! Продолжай!

– Я бросаюсь к машине, – продолжал он, – и еще издали слышу, как этот корреспондент говорит: «Ты герой. Я горжусь, что среди нашего народа есть такие парни». И по плечу хлопает, а тот, скотина, улыбается. А этот – раз и в машину. Я бегу, рукой машу – стой, мол! – а корреспондент эдак пальчиком повел влево-вправо, дескать, «тремистов» не беру, и – газу. Но ничего, время еще есть. Сейчас найдем какой-нибудь номер «Маарива», там есть телефон редакции – или по сто сорок четыре узнаем. Но Ави-то какая сволочь!

– Никуда мы звонить не будем, – тихо сказал я.

Страх победил.

198... За шестнадцать лет до

Страх стеной сметал меня и прижимал к кирпичной стенке, уродливой, как весь этот подмосковный городок, что еще совсем недавно был прекрасным, летним и пах волосами девушки, с которой я познакомился несколько часов назад и которую целовал несколько минут назад на берегу убранной в бесчисленные звезды черной речушки. Целовал, должно быть, качественно, потому, что, оторвавшись от моих губ, в те времена еще не утонувших, как нынче, в усах и бороде, она прошептала:

– Пойдем ко мне! У меня дома – никого.

В обнимку мы поднялись по поросшему травой пологому берегу. Нырнули в белый, залитый лунным светом переулочек и, оказавшись на улице, двинулись по ночной мостовой меж двух рядов старинных домиков. Когда мы поравнялись с вышеупомянутой кирпичной стенкой, невесть откуда появились эти двое, пьяные, фигурами напоминающие гигантские вазы, а мордами – вентиляторы.

– А вот и телка! – радостно объявил один.

Второй без разговоров шагнул к... в жизни не вспомню ни как ее звали, ни как она выглядела. Вот вкус губ помню. Почти помню. То ли вишневый, то ли земляничный. Впрочем, все это не важно. А важно то, что второй из близнецов, которых таковыми сделало не общее происхождение, а одинаковый алкогольно-животный образ жизни, недвусмысленно протянул руку.

Моя несостоявшаяся возлюбленная бросилась бежать, а я, рефлекторно шагнул наперерез агрессору, вознамерившись врезать ему в образ и подобие, но у того в руках вдруг сверкнуло лезвие.

– Падла, бя, ну держись! Какую телку из-за тебя упустили!

И он двинулся на меня. Его примеру последовал его двойник. Вот тут-то страх и смел меня – смел, смял, прижал к кирпичной стене. Городок, как я уже говорил, растерял всю свою прелесть, дома оказались не старинными, а попросту старыми, обшарпанными и, соответственно, уродливыми, а лунный свет на лезвиях ножей играл совсем не так весело, как на только что медленно проплывавших мимо оконных стеклах.

Мастером восточных единоборств я никогда не был, и с учетом моего роста любое сопротивление было бесполезно, а эти двое были пьяны, разъярены и явно не собирались отступать от своих намерений. Так что шансы мои прожить еще пятнадцать минут были не слишком велики. Все, что случилось со мной дальше, произошло в какую-то доли секунды и длилось вечность. «Отсуетился», – мысленно сказал я себе, и в этот миг началась фантазмагория. Оба алконавта с налитыми кровью глазами куда-то пропали, а вслед за ними исчез и деревянно-кирпичный городок, река и стеной подступивший к ее берегу лес. Вернее, не пропали, а остались где-то далеко внизу, такие мелкие, такие никакие... Да и я.

Было лишь огромное черное существо по имени «Вселенная», и молекулой ее плоти – нет, не я был, а та планетка, по которой я тридцать лет бегал, на которой я и останусь, просто чуть-чуть перемещусь с поверхности под кожу. А я – я и раньше-то не существовал. Никто не существовал. Все живое и неживое было частицами этого Существа, частицами бессмертного. Вселенная дышала тихо и спокойно, просто и ровно – и что бы мне ни сделали эти двое, я буду продолжать дышать с нею вместе.

А потом мне открылось самое главное – у Вселенной была душа – живая, трепетная, страдающая. И моя душа была частицей этой гигантской души, мой разум – клеточкой этого гигантского разума. Но и это еще не все. Я не просто ощущал стихию – я знал, Кто передо мной и перед Кем я. Понятие «Б-г» перестало быть для меня абстракцией. Многоглазый Б-г с небес миллионами звезд смотрел на меня и бранил и прощал меня.

А ведь никакого чуда не было. Просто в последнюю секунду жизни я заметил то, чего не замечал все предыдущие миллионы мгновений. Это невероятное, неведомое ощущение настолько потрясло меня и переполнило, что – не только вам – мне самому трудно сейчас это представить – жизнь и смерть оказались где-то далеко внизу, предстали чем-то совершенно не важным по сравнению с тем, что мне открылось. Поэтому, когда я вновь неземным во всех смыслах взглядом посмотрел на своих убийц, появилось, должно быть, в моих глазах нечто такое, что убивать меня стало странно.

– Слушай, да он чокнутый какой-то, – сказал своему другу один из них.

– Вали отсюда, – вяло призвал меня второй, опуская нож.

Как лунарик, двинулся я мимо них в никуда.

* * *

Нечто сдвинулось у меня в душе после той ночи и затаилось на годы. Внешне все шло своим чередом. Я женился – это был уже второй брак – ходил на работу, в гости, в кино. Но чувство, что я это не только я, что я еще и частичка чего-то неизмеримого, а так же, что есть еще и Тот, кто это неизмеримое сотворил, и Он помнит обо мне, думает обо мне, спасает меня – это чувство меня не покидало. И, словно капельки жидкой извести на сталагмите, накапливалось понимание того, что, зная, что Он есть, я уже не смогу жить так, будто этого не знаю.

Настал день, когда количество этих капель перешло в качество, и я понял, что от меня требуется ответный шаг. Стопроцентный продукт стопроцентной ассимиляции, чьи деды с бабками уже идиша не знали, я вдруг вспомнил, что я еврей и зарулил в Московскую хоральную синагогу. Славные там были старички. Судя по обилию «колодок» на пиджаках, некогда они кровью оплатили свое еврейство. Но когда я начинал говорить с ними о Б-ге... Нет, не нашли мы общего языка. Может, они и знали много, да я тогда лишь учился понимать. Не исключено, что меня, заядлого антисоветчика, добило гордое перечисление кем-то из этих старичков имен евреев-соратников Ильича.

Меня кинуло к христианам. Будучи знакомым с иудаизмом по православному изданию Библии с иллюстрациями Доре, правда, очень хорошими, я рассматривал «Ветхий» и «Новый» заветы как сериалы «Приключения Вс-вышнего» и «Приключения Вс-вышнего-2». Мне распахнули объятия пышущие религиозными дискуссиями и ненавистью к безбожной власти христианские компании, полные потомственных русских интеллигентов и новообращенных молодых евреев с горящими глазами. Вслед за мною на эти сборища засемила моя жена, еврейка по матери. В церковь, правда, в отличие от меня, не бегала, но умные тамиздатовские книжки соответствующего содержания читала охотно. А поскольку ум у моей Галочки мужской, эмоциональная приправа в виде литургии и ладана ей не была нужна. Она и так, через мозговой процесс, влюбилась в самую гостеприимную из религий. А меня что-то удручало. В церкви в разгар трогательных гимнов, когда у окружающих выступали слезы на глазах, между мною и ими, а также между мною и амвоном вдруг вырастала ледяная стена.

– Помоги мне! – воззвал я как-то, выходя с вечерни на московскую улицу.

Тут из снежной темноты вынырнуло лицо моего бывшего одноклассника Леньки Фридмана, с которым я время от времени перезванивался. Ленька сидел в глухом «отказе». Те, кто знакомы с еврейскими проблемами времен Совка, знают, что это такое. Жена и дочь его уже год как жили в Израиле, а ему, сионистскому активисту, во время беседы в некоем учреждении, состоявшейся как раз накануне нашего последнего телефонного разговора, сказали, что «мы тебя, падлу, заживо сгноим, но не выпустим». Поэтому я несказанно обрадовался, убедившись воочию, что он еще жив, не гниет и не сидит.

Но что это за странная кепка, чтобы не сказать «кепище», увенчивает его бедовую голову? Откуда эта всклокоченная борода в два раза длиннее, чем была во время нашей послед-

ней случайной встречи полтора года назад? И эти дикие волосяные матрахлясы, свисающие от висков чуть ли не до самых плеч! Ах да, он же не раз по телефону давал мне понять, что стал верующим иудеем, даже просил по субботам не звонить, но лишь сейчас я увидел, как это выглядит.

– Ну, что слышно? – осведомился я, делая вид, что не замечаю перемен в его облике.

– Все отлично! – радостно сообщил он.

– Что, есть уже разрешение?!

– Нет, разрешения пока нет, но скоро будет.

– Откуда ты знаешь? Есть какие-то новости?

– Да нет никаких новостей, – отмахнулся Ленька. – Б-г есть, но это не новость. Из Египта он нас вывел и отсюда выведет. Я свое еврейское дело делаю, а остальное – его проблемы. Так что все в порядке, – беззаботно заключил он.

Ничего подобного я в жизни не слышал ни от евреев, ни от христиан, ни от тех экспериментаторов, что пытались совместить в себе то и другое. Впервые столкнулся я с Верой с большой буквы, с Верой-знанием, с Верой-фактом.

В тот вечер я пришел домой в смятении. В мой мир, каким я его себе строил все годы после той ночи, ворвалось нечто новое, по силе воздействия сравнимое с той ночью в подмосковном городке.

А месяца три спустя – как раз успела расцвести весна – мои православно-католические друзья, встревоженные моими метаниями, отправили меня в Литву к одному очень известному и очень мудрому патеру, дабы он мне вправил мозги и вернул в стадо заблудшую овечку. Патер жил на хуторе среди вишневых садов, устилавших белыми лепестками подвижную гладь Немана. У него было морщинистое добродушное лицо, глаза цвета Немана в солнечный день и воспаление тройничного нерва, от которого он лечился иглоукалыванием.

В доме его все время толклось множество людей – литовцы, русские, и, конечно, евреи. Говорят, время от времени заявлялись тщательно законспирированные товарищи из Комитета Глубокого Бурения, как называли между собой вездесущее КГБ. Такому новоприбывшему патер пристально смотрел в глаза и, обратившись к остальным постояльцам, объявлял:

– А теперь помолимся за душу нашего брата, который прибыл сюда, чтобы обо всем и на всех донести. Помолимся! Эта душа в опасности.

Меня патер подозвал на третий день и спросил, что привело. Я сказал, что запутался в своих отношениях с Б-гом, а затем рассказал и о ночном приключении и о своих метаниях.

– Ну что ж, – сказал патер, – можешь креститься. И ходить в костел или православную церковь. А можешь и не креститься. Ходи в синагогу, если это твоей душе ближе. Может быть, это и есть твой путь. Мы ведь тоже синагога, только новая. Главное – хватит быть одному. Ты должен молиться и служить Б-гу среди таких же рабов Б-жьих, как и ты. Только тогда ты поймешь, чего от тебя хочет Б-г.

Его слова я привожу дословно, хотя с еврейской орфографией – по-другому уже не получается.

Никакого решения я на тот момент еще не принял. То есть, в душе-то принял, но сам этого пока не знал. Еврейство уже проснулось во мне, но нужен был еще повод, хотя бы и пустячный, чтобы оттолкнуться от христианства. Этот повод я получил в тот же день.

У патера над дверью справа висели портреты друзей Литвы, а слева – ее врагов. В первом иконостасе среди многочисленных неизвестных мне литовцев и поляков духовного и светского сословий я увидел и лицо Солженицына. Оказалось, они с патером в конце сороковых – начале пятидесятых сидели в одном лагере и с тех пор остались друзьями. По другую сторону двери зияли Гитлер, Сталин, разнообразные русские и европейские монархи. На почетном месте красовалось рыло Муравьева, прозванного Вешателем, палача восстания тысяча восемьсот тридцатого года. Я, разумеется, слышал о нем и прежде, но только тут мне разъяс-

нили, каким крылатым словам обязана своим происхождением эта кличка. Оказалось, что на вопрос, не является ли он родственником Муравьеву-Апостолу или Никите Муравьеву, «польский» Муравьев ответил: «Я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех муравьевых, которые вешают». К тому времени на зрачки мои уже налипли бирюзовые контактные линзы христианства, и я наивно спросил, через сколько дней после такого высказывания его отлучили от церкви, как, скажем, Льва Толстого. Выяснилось, что ни через сколько.

Итак, государственный деятель – ладно бы втихаря делал мерзости – но декларирует нечто противоположное духу Учения, а истеблишмент, уходящий корнями в это Учение, спокойно все проглатывает!..

То ли это попало под мое настроение, то ли стало на чаше весов последней пылинкой, но, вернувшись в Москву, я сразу же позвонил Ленке и попросил его о встрече. Он удивился и пригласил меня на шабат.

Зачем я все это сейчас рассказываю? Какое отношение все это имеет к убийствам на баскетбольной площадке? В нашей Вселенной все ко всему имеет отношение.

* * *

Отношение свое к моему предложению отправить к Ленке праздновать шабат, Галя выразила короткой фразой:

– Это еще зачем?

И пожала плечами. Ей было уютно в ее головном христианстве. К Ленке я пошел один.

И был шабат. Вокруг стола, застеленного белой скатертью, где самодельные халы бугрились под атласной белой салфеткой с вышитой на ней золотистой паутиной таинственных еврейских букв стояли мужчины в черных шапочках, женщины в косынках и пели. Их лица казались звеньями кораллового ожерелья, нанизанными на нить мелодии.

«Поднимись, Столица, поверженная в прах,
Сгинут и тоска твоя и страх,
Слишком долго, святыня, лежала ты в слезах,
Слишком долго ты ждала.
Оставь, мой друг, свои дела,
Невеста к нам с тобой пришла,
Оставь скорей свои дела,
К нам теперь суббота пришла.
Леха доди ликрат кала
Пеней шабат некабела»

Все это пелось на иврите, и слов я тогда не понимал. Но вдруг увидел белый город, лежащий в руинах, и лисиц, ныряющих сквозь черные дверные проемы туда, где раньше жили в еврейском мире и умирали под ударами римских мечей мои вечные братья и сестры. И от этой песни, которую я тысячи раз слышал до рождения, по щекам моим побежали слезы. А над развалинами, над заливаемым солнечным золотом небом, вставал все тот же город, но живой, зеленый, и в сердце его – бело-золотой Храм. К Храму этому струилась дорога, и я понял, что – не знаю, как у кого – но у меня не может быть иной дороги, и что Он ждет меня вот за этими резными воротами, вон за той красной завесой.

Тот я, который вернулся спустя два часа домой, с тем, кто за четыре часа до этого уходил из дома, имел столько же общего, сколько цыпленок со скорлупой.

А жена моя осталась в прежнем обрывке жизни.

– Я еврейка, – сказала она через несколько недель, вернее через несколько шабатов. – Я всегда была, есть и останусь еврейкой. Я еврейка до мозга костей. И то, что ты называешь Торой, а я – Библией, я читала. И помню, что на самом деле Б-г сказал Аврааму – «Да благословятся в твоём потомстве все народы Земли.» Понимаешь, мы народ народов. Наше место... Помнишь, у Маргариты Алигер?

«Жили щедро, не щадя талантов,
Не жалея лучших сил души...»

Быть носителем культуры, нести народам мира идеи доброты, идеи справедливости – не зря все мерзавцы от Гитлера до Сталина нас всегда ненавидели. А вы? Что я слышу от тебя с тех пор, как ты спутался с этими? Евреи, евреи, евреи, евреи... Будто никого другого не существует. Отгородимся от всех, запремся в своих синагогах. Главное – не «к правде стремись», а «не зажигай света в шабат», «не гаси свет в шабат», «не ешь мяса с молоком». Мы подарили миру великий закон «Люби ближнего, как самого себя» – но в вашей интерпретации это не «Люби ближнего», а «Люби еврея», а на остальных вам наплевать. Кто первыми выступают против нашего советского фашизма? Гинзбург, Даниэль, Галич, Беленков, Литвинов... Кто создал русскую литературу в нашем веке? Бабель, Пастернак, Мандельштам, Бродский. Но для вас это всё – «чур меня, нееврейские дела»...

«Еврей» для нее означало – «русский со знаком качества». А того, что именно отдалившись от остального человечества, мы ему по-настоящему служим, она не желала понимать.

Мои восторженные отчеты о посещениях шабатов и уроков Торы она встречала штыковым молчанием. Взрыв произошел после первого моего отказа включить стиральную машину в субботу.

– Ты хочешь сказать, – проворковала она, – что единственный день, когда ты мне помогал по хозяйству, отныне посвятишь высокодуховным экзерсисам, а дом окончательно и прочно ляжет на мои плечи? Ты хочешь сказать, что Б-г требует от тебя превратить женщину, которую ты якобы любишь, последовательно, сначала в рабыню, затем в лошадь и, наконец, в труп?

Я позорно отступил и нарушил шабат, а затем всю неделю днем и ночью занимался закупками, стирками, уборками и всем прочим, дабы разгрузить следующий шабат. В пятницу я, в жизни не изготовивший ничего интеллектуальнее яичницы, вооружился поваренной книгой, и, пропыхтев у плиты целый день, осчастливил семью бассейном вкуснейшего борща, калейдоскопом разноцветных салатов, а также всяческими изысками на базе фруктов. Разумеется, гвоздем программы стали халы, изготовленные по рецепту моих новых друзей. Правда, некоторые салаты оказались пересоленными, а вино было заменено довольно противным компотом из изюма, сваренным мною лично, но жена была настолько счастлива, что даже снизошла до субботней свечи и с восторгом повторила за мной ломающее язык «ашер кидшану бамицвотав вэцивану лэадлик нер шель шабат». Сложности возникли, когда, встав после праздничного ужина, она радостно объявила: «А теперь по такому случаю поехали в кино». Пока я ей объяснял, что случай как раз не «такой», зазвонил телефон. Конечно же, я не подошел, конечно же, она подошла и позвала меня, и, конечно же, я отказался – шабат. Она глядела на меня с недоумением – что это за странную игру вдруг затеял человек, с которым она не один год прожила, не замечая у него до сих пор столь явных признаков кретинизма. Я начал что-то мямлить. Дескать, на таких вещах, как шабат, человек приучает себя к понятиям «нельзя потому что нельзя», что очень может пригодиться ему при решении нравственных проблем. Она же выразила сомнение в том, что шибко нравственно лишать ее возможности по-человечески провести единственный вечер в неделю, когда наутро не надо вставать ни свет ни заря.

– Галочка, – ответил я, обнимая ее и прижимаясь к ней щекой. – Галочка, пожалуйста, не сердись! Мы завтра весь день проведем вместе, мы пойдем погуляем по Нескучному... Нам будет хорошо! А я потом всю неделю буду стараться разгрузить тебя от домашних дел.

Она улыбнулась. Когда она улыбалась, губы ее напоминали лук тетивую вверх. Я выполнил свое обещание – по крайней мере, частично. К следующему шабату полы по всей квартире были вымыты, пыль отовсюду стерта, белье постирано, в общем, на ее долю работы не осталось.

– Знаешь, – произнесла она, задумчиво глядя сквозь изящные очки после того, как я, бэкая, мэкая и запинаясь, прочитал над изюмной отравой *кидуш*. – Жизнь никогда не была для меня настолько легкой и настолько... горькой.

Я поперхнулся своим *кидушем*, а она тихо продолжала:

– Я ишачила на работе, ишачила по хозяйству, торчала по очередям в поисках хотя бы чего-нибудь для дома. Ты мне почти не помогал, но я утешала себя тем, что ты все равно любишь меня, а не помогаешь по безалаберности, по неумению, по забывчивости. А ты, оказывается, всё можешь, оказывается, годы, которые я провела в аду, могли стать райскими годами. Сейчас ты меня от всего по дому освободил, но не ради меня, а ради своих *мицвот*. А я для тебя – тьфу, ступенька для мицвы.

Глаза ее за тонкими стеклами очков наполнились слезами, уголки рта опустились так, что губы стали напоминать лук тетивую вниз, готовый куда-то в небеса пустить невидимую, напоенную горечью стрелу.

В чем была моя ошибка? Наверно сначала стоило ознакомить ее с основами Веры, дать ощутить вкус Торы, а потом уже по капле вводить соблюдение заповедей. Или просто почаще напоминать: «Галочка! Это наш народ, это наша вера! Это то, за что наши деды и прадеды отдавали жизнь! Неужели хотя бы в память о детях, которые предпочитали умереть, но не поклоняться чужим богам, в память о юношах, которые гибли, спасая свиток Торы, мы не можем отказаться от субботнего похода в кино?!» Ничего этого я не говорил, а если и говорил, то как-то вскользь, неуверенно. Видно и сам тогда еще не до конца был во всем этом убежден. Не знаю, как мне надо было себя вести – знаю только, что я вел себя в точности как не надо. Судите сами – нужно быть круглым идиотом, чтобы на фоне таких вот обостряющихся отношений в один прекрасный вечер объявить жене, что, пока она не окунется в микву – бассейн для ритуальных омовений – я не то, что с ней в постель лечь не могу, но и к руке ее прикоснуться не имею права. Именно таким идиотом я и был. Нет, чтобы сказать: «Галочка, есть каббалистические объяснения всему о чем я прошу, но дело не в этом. И заповедь о микве и другие заповеди – в них мой путь к нашему Б-гу. А ты моя жена. Я люблю тебя и люблю Б-га. Пожалуйста, не заставляй меня выбирать между вами». Ничего этого я не сказал. Галочка, что называется, понюхала нашатыря, встала с пола и попросила:

– С этого места, будь добр, поподробнее.

Я объяснил, что раз в месяц через неделю после определенного периода еврейская женщина обязана окунуться в микву – обычная ванна не годится – и лишь потом она дозволена мужу.

– А если еврейская женщина во всё это не верит? – убитым голосом спросила моя любимая.

– Значит, она это сделает для любимого мужа, – отрезал я. – Здесь неподалеку, в Большой Синагоге на улице Архипова.

Синагога-то Большая, да миква полтора на полтора метра. Бедная Галочка поплелась на улицу Архипова. Вернулась ритуально чистой, но в ярости.

– Больше я в этот унитаз не полезу, – категорически заявила она, имея в виду как габариты юдоли духовного очищения, так и гигиенический аспект проблемы.

Я понадеялся на то, что за месяц забудется, но – увы! – не забылось, тем более что выяснилось – в этой микве она еще и подхватила какой-то грибок.

В течение двух недель после первого ее непохода в микву я изображал из себя неприступную красавицу или прекрасного Иосефа, а затем пал в объятия соблазнительницы. Инцидент был исчерпан и еще годами заповедь семейной чистоты оставалась единственной, которую я нарушал, причем, ежемесячно, услышав заветное, «уже можно» осведомлялся, не возникло ли у моей Б-говорочки желания прошвырнуться на улицу Архипова и обратно, и, наткнувшись на остролоктевое «нет», понуро шел в постель, как несчастная невеста на ложе феодала, пользующегося правом первой ночи. А затем, уже остывая от объятий, начинал ныть, что вот как плохо, когда евреи нарушают указания Самого.

Как-то раз, не выдержав этого махания кулаками после драки, (не считите за непристойный намек) голенькая Галя, потягиваясь, сказала:

– Теперь я понимаю, зачем нужен был Христос. Наши горе-мудрецы настолько засушили и выхолостили Веру, данную им свыше, настолько превратили ее в исполнение бессмысленных, а зачастую и бесчеловечных обрядов, что нужно было очистить ее от всей этой шелухи, от всей этой чепухи и вернуть ей тот изначальный свет Добра, который был в нее заложен. Этим светом, очищенным от буквоедства и варварства, и стало христианство.

– И особенно ярко, – подхватил я, – вспыхивал этот Свет Добра в пламени костров, на которых сжигали евреев или еретиков. Или когда во время погромов детишкам животы вспарывали. Куда нам до такого света!

– Ну, зачем же так скромничать? – пропела она, спустила ноги на пол, встала, вернее, взмыла белой волной, накинула халатик и зажгла свет. Я зажмурился и инстинктивно натянул себе на лицо простыню и подумал: о чем еще могут разговаривать в постели обнаженные еврей и еврейка, кроме как о том, какой способ служения Б-гу лучше? Галка меж тем открыла старый, кряхтящий по ночам, шкаф (клянусь, сам слышал, как его иссохшие стены в темноте говорили «О-ох!»), достала свежеподаренный мне каким – то доморощенным московским равом двуязычный сидурчик, темно-синий, с золотым тиснением, пахнущий типографской краской и далеким Иерусалимом, где он был выпущен. Она открыла его, полистала и прочла вслух концовку тридцать седьмого псалма: «О дочь Вавилона, обреченная на разорение! Благословен, кто воздаст тебе по заслугам за содеянное с нами. Благословен, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о скалу».

Можно было, конечно, возразить ей. Что МЫ лишь говорили «Благословен, кто схватит и разобьет», а ОНИ хватали и разбивали, но что толку? Я понимал, что истина в спорах не рождается, в спорах лишь каждый укрепляется в своей правоте. Так прошло несколько лет. У нас родился сын, но это событие не сцементировало нашу семью, наоборот, породило новые раздоры – крестить или обрезать. Закончилось по нулям. Мой иудаизм еще больше стал стимулировать в ней христианство. Я бегал на уроки Торы, она начала ходить на лекции популярного в те времена православного еврея-священника, о котором некогда поэт Борис Слуцкий писал:

«В большой церковной кружке денег много.
Рай батюшке – блаженствуй и жирей.
Что, черт возьми, опять не слава Б-гу?
Нет, по-людски не может жить еврей!

.....

И вот стоит он, тощ и бескорыстен,
И льется из большой его груди
На прихожан поток забытых истин,
Таких, как «Не убей!», «Не укради!»

.....

Еврей мораль читает на амвоне,
Из душ заблудших выметает сор.
Падение преступности в районе
Себе в заслугу ставит прокурор».

Не знаю, какой сор он выметал из души моей Галочки, но именно с этого времени наши, так сказать, идеологические расхождения стали принимать эмоциональную окраску. Иными словами, орать Галка начала. Раньше по субботам при виде моих фокусов ярость в ней поднималась, как красный спиртовой столбик в термометре, выставленном на солнце, но она все-таки сдерживалась. А вот с вышеупомянутых лекций уже возвращалась, как бомба, готовая взорваться, что и делала, не отходя от кассы.

Понятно, что почтенный служитель культа не вызывал у меня никакой нежности, и после очередного тайфуна я с сигаретой ушел в санузел, твердя: «Чтоб ему, гаду, голову проломили». Через неделю Россию облетела страшная новость – знаменитого проповедника убили ударом топора в затылок. КГБ поклялся найти виновного и, конечно, не нашел. Народ по этому поводу изгилялся: «Кто ищет, того и надо искать». Я же оказался в положении старушки из фильма «Король Королю», которую забрызгала грязью из канавы мчащаяся по проселку машина со шпионом, в чьем кармане лежала заминированная авторучка. Старушка восклицает: «Чтоб тебя разорвало!», ее пожелание немедленно исполняется, и старушка, крестясь, бормочет: «Г-споди! Я ж не хотела этого!». Со мной было то же самое, вот только что не крестился.

А между тем Михал Романыч подрастал и, чем дальше, тем больше нравилось ему мотаться со мной на шабаты, *пуримшпили*, *седеры*. Когда ему было пять лет, он очень внимательно прослушал в Марьинорощинской синагоге *агаду* – пасхальное чтение – в исполнении молодого раввина, рядом с которым сидел. Когда увлекательное повествование и пылкий монолог раввина, призывавшего нас вернуться к своему народу, завершились, обнаружилось, что цицит – ритуальные белые нити, свисавшие с его одежды, заплетены в аккуратные косички. Не потративший времени даром ребенок скромно опустил глаза.

Вскоре после этого мы оказались на очередном *пуримшпиле*, исполняемом на какой-то московской квартире. Когда в конце представления звучала заключительная ария, певец, дойдя до слов:

«Спасибо, Эстер, спасибо, царица,
За чудом спасенный народ»,

схватил сидевшего на первом ряду Мишку и поднял его на руки. Запечатлевшая этот эпизод фотография с Михаилом Романычем, улыбающимся неполнозубым ртом, обошла умиленные западные журналы.

В возрасте шести лет как-то раз, отобедавши, Михаил Романович вместо «Спасибо, мама» затянул «Бирхат амазон» – благословение после еды.

– Мог бы сказать спасибо, а не изображать волка в лунную ночь, – недовольно сказала родительница.

– Могла бы со мной повежливее разговаривать, – в тон ей ответил юный расист. – Я, между прочим, на три четверти еврей, а ты только наполовину.

Вместо пятерки по математике последовал очередной скандал.

Не буду утомлять читателя рассказом об агонии моей семейной жизни. Говорят, любовь это не когда двое смотрят друг на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. Мы смотрели в противоположные стороны. Семья получилась – лебедь, рак и щука. Правда, щуки не было, но

в роли воя после того, как наша ячейка общества была аннулирована в Московском Народном Суде, оказался Михаил Романович. Он рвался между отцом и матерью, которую продолжал обожать.

Я переехал в однокомнатную квартирку в Орехово, которую унаследовал от недавно умершего отца, да будет благословенна его память. А после работы отправлялся к Мишке, и мы шли в Нескучный.

«Папа, расскажи мне про рабби Акиву». И я в сотый раз рассказывал, как рабби Акиву злые люди не пустили ночевать в их селение, как он с факелом, ослом и будильным петухом расположился у дороги, как ветер задул факел, лев сожрал осла, а лиса – петуха, но рабби Акива после каждой потери лишь повторял: «Что Б-г ни делает, всё к лучшему», а затем лег спать, и, наконец, как ночью по дороге прошли римляне и сожгли селение вместе с его обитателями, и, если бы рабби Акива был в селении или если бы римляне увидели факел, услышали, как орёт осёл и кукарекает петух, они бы рабби Акиву неизбежно убили, а значит, всё, что Б-г ни делает, действительно к лучшему. Михаил Романыч морщил лоб и спрашивал: «А где он, Б-г?», и я отвечал ему словами хасидского реббе: «Всюду, куда ты его впускаешь».

Ну и шабаты, разумеется, были нашими. Так продолжалось полгода, пока Галка не сообщила, что вместе с Михаилом Романычем собирается переехать к матери в Днепропетровск. На вопрос о причине столь резкой смены места жительства она стала бормотать нечто невразумительное, и я понял, что истинная причина – я. Гале надоела двойная жизнь ребенка. Мне, строго говоря, тоже, просто мы по-разному видели решение проблемы.

Но все права были у нее. Ясно было, что, если она уедет в Днепропетровск, парня я потеряю навсегда.

Ночь простоял я на своем балконе в Орехово, выкуривая решение. Внизу черным океаном бушевал под ветром Царицынский лес. К утру я понял, что должен, как говорилось в заглавии какой-то книги, уйти, чтоб остаться.

А значит, моя мечта, которую я из-за Мишки скручивал в бараний рог, теперь именно из-за Мишки же должна реализоваться. Вы уже понимаете, о какой мечте идет речь. Папа, сходящий с трапа самолета: «Здравствуйте... А у нас в Израиле...». К такому папе и в гости не грех, да и к мужу бывшему – глядишь, и семья восстановится, а нет – подрастет парень, может, и уедет в цветущий Тель-Авив – благо есть к кому. А если все вместе, то и с шабато-кашрутом здесь куда легче, чем в России. Это я сейчас понимаю, что русский Тель-Авив куда злобнее, чем Москва, ненавидит всё еврейское. Короче говоря, постоял я в Востряково над могилами папы и мамочки, с которой простился еще в детстве, постоял-постоял, да и шагнул к призывно раздвинувшимся передо мной дверям Шереметьево. А трап уже напрямую вывел меня через караван студента ешивы в эшкубит жителя Ишува. Далее пропустим комментарии по поводу сладости мечта (а как еще образовать от этого слова родительный падеж множественного числа?). Никакие попытки вытащить мою жену либо моего сына ни временно, ни тем более на постоянку не принесли плодов. Единственный плюс был, что, ставши заморским богатым родственником, я, благодаря разнице в курсе рубля и шекеля и соответственно в ценах здесь и там, смог на получаемые мною гроши ошутимо поддерживать свою бывшую и вечно любимую семью. Кстати, как только я объявил о своем отъезде в Израиль, все разговоры об ее отъезде в Днепропетровск, разумеется, заглохли.

Любопытно, что через океан... ну не через океан, через Черное море, Украину, пол-России да Турцию с Ливаном, наши с Галочкой отношения становились все лучше и лучше. Как и предполагалось, в свои ежегодные (чаще по финансовым причинам не получалось) приезды я стал желанным гостем. Отпускать ко мне в гости пацана она боялась – воюющая страна! – зато отдала его в еврейскую школу. Школа, конечно, азохенвей, религиозное воспитание там и в километре не лежало, но какое-никакое знакомство со своим народом она детям давала, и Михаил Романыч хотя бы помнил кто он и что он.

И, наконец, апофеоз – школа устраивает лагерь в Израиле. Дети на целый месяц приезжают в религиозную школу – интернат на горе Кармель, на берегу моря.

Что это были за дни! Я приткнулся у друзей в Зихрон Яакове – каждое утро выходил на шоссе и за час, не больше, добирался до лагеря. Посещения, конечно, бдительными российскими педагогами были запрещены, но беспечный израильский охранник пропускал всех подряд, и я пристраивался в уголке бескрайней территории интерната. Там была чудесная беседка. Внизу покрытое рябью море, словно расколовшаяся голографическая пластинка, изображало тысячи оттисков солнца, деревья извивались в объятиях лиан, и при каждой удобной минуте Михаил Романович прибегал ко мне, рассказывал, как они проводят время – «Вчера был «шоколадный» день, а сегодня – военная игра! Всё, папа, я побежал – у нас через пять минут свеча». Свечой у них называли ежедневное обсуждение вожатых с детьми того, как прошел день.

У нас тоже была своя свеча – «Свеча на снегу» Эзры Ховкина – хасидские предания, которые Мишка слушал взахлёб. Рассказы про великого мудреца и чудотворца Бааль-Шем-Това – основателя хасидизма. Помните «кфицат а-дерех»?

А еще я ему рассказывал, как Йосеф делла Рейна, вдохновленный любовью иерусалимских евреев ко Вс-вышнему и их самоотверженным служением, решил привести на землю Машиаха, как он, произнося тайные имена Вс-вышнего, по очереди вызывал ангелов всё более и более высоких ступеней в их небесной иерархии, как они помогали ему важными советами, как он вместе с учениками постился и молился сорок дней, как потом они двинулись в путь, преодолели все пакости, которые на них насылали Сатана и Лилит, одолели тех и связали, и как в последний момент святой Рабби всё-таки не выдержал, проявил к ним милосердие, из-за чего и потерпел поражение. Его ученики кто умер, кто сошел с ума, а на земле вновь воцарились беды, болезни и смерть. И мой двенадцатилетний шкет заплакал.

Заплакал и я, когда выяснилось, что в списке тех детей, кому родители разрешили остаться у родственников еще на недельку-другую после окончания смены, Михаил Штейнберг не значился. Всё-таки Галка перестраховщица.

И плакал я, что уже пролетел месяц экскурсий (на которые, правда, меня не брали), развлечений, но и молитв, но и... «Папа, когда-нибудь я навсегда к тебе приеду. Я полюбил Израиль» И плакал я в Бен-Гурионе, когда толпа детей утекла мимо улыбочивого охранника в стеклянные двери – и наверх, в зал, филиал поднебесья.

А потом был звонок в Москву, и...

– Рома, нам надо поговорить. Я знаю, ты будешь против, но я приняла решение. В этой школе обучение на ужасном уровне, нравы – страшнее не придумаешь. Слушай, зачем ребенку показывать еврейство с худшей стороны?

Я молчал.

– Короче, продолжала Галя, – Миша успешно сдал экзамен и зачислен во вторую матшколу.

«Знаменитая вторая матшкола, – думал я, слушая мою вдовицу. – Одна из лучших в стране. В ИХ стране».

– Понимаешь, Гошенька, – говорил я спустя несколько минут, роняя слезы в жесткую кольчатую Гошкину шерсть, обнимая его, глядя и трепля длинные висячие уши. – Еврейская школа плохая, а та – хорошая. Евреем быть плохо, а вот...

Отрешенным взглядом обводил я белые стены, по углам помазанные сыростью, белые с розовыми ребрами шкафы без дверец, доставшиеся мне в наследство от кого-то, кому они сильно надоели, и курил, курил, курил так, что аж сердце прихватило.

Потом снова ездил в Москву и навещал Мишку с Галкой в квартире на Ленинском, из которой с балкона на шестнадцатом этаже и Кремль виден и Шаболовская паутинистая башня и Останкинская копченая, как ее в народе называли после пожара, а уж Донской монастырь и

вовсе рядом – словно старинный пароход с куполами-трубами подплывает к пристани нашего дома.

Школа и вправду оказалась хорошей – образование просто замечательное. Математика, сами понимаете на каком уровне. Правда, сосед Михал Романыча по парте – член молодежной нацистской организации, но мой сын объяснил ему и всем заинтересованным, что Штейнберг – это немецкая фамилия, что сам он немец, и член проникся к нему глубоким уважением – отличившаяся нация. По счастью, Мишка светленький – в русского деда. Так что все в порядке.

За двадцать дней до. 28 севана. (8 июня). 12:30

Со мной всё в порядке. Больной жить будет. А теперь звонить, звонить и еще раз звонить. Теперь мои звонки и приезды – единственное, что хотя бы немножко держит парня на плаву в духовном смысле. Что же касается меня, то понять того, кто, живя в Израиле, звонит своему ребенку в Москву, может только тот, что, живя в Израиле, звонит своему ребенку в Москву. А если вы хотите испытать, что это такое, попросите знакомого хирурга вырезать у вас сердце и отправить куда-нибудь на полюс. А сами поезжайте на экватор.

Я схватил телефонную трубку с антенной. Золотые буквы «Panasonic» глядели на меня с черной глади. Ноль сто двадцать семь ноль девяносто пять два три два один ноль пять три. Гудок. Еще гудок.

– Аллю?

– Галочка, привет.

Молчание. Затем:

– Да, здравствуй.

– Как дела?

– Спасибо.

– «Спасибо, хорошо» или «спасибо, плохо».

– Спасибо.

Что с ней вдруг случилось? Ладно, перейдем к следующему пункту повестки дня.

– Мишу позови, пожалуйста.

– Его нет дома. И вообще, знаешь, больше сюда не звони.

– Как нет? У вас уже четыре! Должен был из школы придти.

В этот момент я сообразил, что сейчас лето, и в школу он не ходит.

– Его нет дома.

Гудки. Вот это да! В самые худшие времена нашего разлада она со мной так не разговаривала.

В этот момент Гоша, выждав, пока я плюхнусь в изнеможении на стул, подскочил ко мне, положил на плечи свои большие лапы, и начал вылизывать лицо. Его горячее дыхание неожиданно подняло мне настроение.

– Не переживай – говорил он мне глазами. – Всё будет хорошо. Я тебя люблю. Я тебя не оставляю. Я понимаю, тебе этого не достаточно, но чем богаты, тем и рады.

Я погладил его, он прижался ко мне, и вдруг мне показалось, что бурая пакость – нечто вроде нарыва – которую вырезали ему из пасти неделю назад, вновь появилась. Я сразу вспомнил, как стоял у металлического стола, глядя стонущее животное, а врач кромсала бедняжке десны, как она вколола ему еще порцию какого-то зелья, и он перестал чувствовать боль, зато ее почувствовал я, когда Гошке каленым прутом прижигали нарывы на губах, и ветеринарный кабинет наполнился запахом паленой плоти, и от его рта ко мне тянулись змейки дыма, и вид у меня был такой, что милейшая Инна, доктор Айболит в юбке, осведомилась, не хлопнусь ли я рядом с Гошей, потому как возиться с двумя ей было не с руки. А я ничего не отвечал, гладил Гошку и утешал: «Ну, мой милый, ну мой сладкий, ну потерпи немного!» Потом он лежал на траве возле Инниного кабинета и не мог подняться, пока не отошел наркоз.

Теперь вот он меня молча утешал: «Ну, мой милый, ну мой сладкий, ну потерпи немного!»

И все же – что случилось с Галкой? И в голосе какое-то отчаянье, как будто она не меня гонит, а самое себя. Ладно, позвоню в понедельник днем, когда она будет на работе. Поговорю с Михаилом Романовичем, может, всё и выяснится.

Мне безумно захотелось курить. Тупо повертев некоторое время в руках пустую пачку из-под «Эл-эм лайт», я вдруг осознал, что магазин закрыт, а что я до шабата курить буду – неизвестно. Я выскочил на улице в надежде у кого-нибудь стрельнуть, впрочем, почти беспочвенной, потому что на все поселение курят полтора человека. И тут... Знаете, когда моему сыну было три года, он по аналогии с «как назло» говорил «как на добро». Так вот «как на добро» Шалом в своей «Субару».

– Шалом, есть сигарета?

Шалом, под моим чутким руководством изучающий русский язык, решает, что сигарету я должен отработать, и вообще сейчас самое время потренировать диалогическую речь.

– Ты просишь сыгарэту.

– Да.

– Ты хочешь курыт.

– Да, да, хочу! (Угостишь ты меня, наконец?)

– Ты отшен хочеш курыт. (Шалом в восторге от своих языковых познаний.)

– Очень, очень хочу!

– Нэту!

Я плюнул и вернулся домой. Настроение окончательно испортилось, к тому же вспомнились последние разговоры с сыном. И в мой приезд, и по телефону. Нехорошие разговоры. Рассказы взалех о школе. Постоянное «У нас в России», «Вы там в своем Израиле...»

А когда я прокряхтел – «Но ведь и ты два года назад собирался в Израиль», ох какое молчание наступило на целую минуту, в конце которой он промямлил: «Да».

С тех пор это «да» и есть та ниточка, которая связывает меня с жизнью. Что ж, как сказали авторы бессмертного фильма, доживем до понедельника.

* * *

Понедельник, как известно, начинается в субботу. А суббота, что гораздо менее известно, начинается с пятничной *минхи* – дневной молитвы. На минху я пошел не в центральную ишувскую синагогу, а в маленькую, которая поближе к дому.

Там нас ждало новшество. К деревянным лакированным планкам, бегущим вдоль белых стен, были привинчены белые пластмассовые зажимы с пружинами, рассчитанные как раз на то, чтобы прихватить дуло «эм-шестнадцатъ». Теперь всем, у кого он есть, а есть он решительно у всех, за исключением тех, кто ходит с тяжеленным, хотя и более компактным «узи», не было необходимости класть эту бандуру на пол, так что пол начинал походить на памятную с дней моего советского детства школьную площадку для сбора металлолома. Достаточно было просто прислонить оружие к стене, прихватив дуло этим самым зажимом. Что я и сделал.

Минха прошла как-то на автомате, извините за игру слов, мои мысли вконец распоясались, мозги были не здесь, а в Москве.

Шалом, стоящий недалеко от меня, напротив, весь ушел в молитву. Он, зажмурив глаза, морщился, словно от сильной боли и, шевеля губами, рассказывал Хозяину обо всем, что его переполняло.

Затем мы запели «Едит нефеш» – объяснение еврея в любви к Б-гу.

«Любовью к Тебе
душа моя вновь полна,
Пусть исцелится
дыханьем твоим она.
Светоч Вселенной,
душу мою излечи.

Пусть на нее
прольются твои лучи»

Когда дошло до «Леха доди», меня ждал приятный сюрприз – ее запели на ту нечасто звучащую чарующую мелодию, под которую прошло мое пятнадцатилетней давности возвращение к своему Б-гу, к своему народу, к себе. Я прикрыл глаза и улетел в ту квартиру на «Кировской», где за субботним столом впервые ее услышал. Исчезли белые стены синагоги, вместо них развернулись темно-красные обои, по которым ползли золотые змейки узора. Уплыла из-под ног разлинованная крапчатая плитка пола, к моим подошвам прижался паркет, по которому рассыпались блики от люстры и торшера, и рядом со мной вырос кудрявый беленький Михаил Романыч с вечно вытаращенными удивленными глазами.

«Леха доди ликрат кала,
Пеней шабат некабела»

И к тому времени, как началась собственно вечерняя молитва, я уже окончательно отрешился и воспарил. Я стоял, шепча: «Ты освятил Седьмой День ради Имени Своего; в нем цель создания неба и земли. Благословил его более других дней недели и освятил больше, чем другие времена» Окна были распахнуты, и горный воздух, сквозняком кружившийся под потолком синагоги, холодным крылом трепал мне затылок и плечи.

За девятнадцать дней до. 29 сивана. (8 июня). 20.30

Крылья тени трепетали за спиной Шалом, когда он, прикрыв глаза, очень при этом, напоминая тетерева на току, как я его себе представляю (никогда не видел тетерева на току), благословлял детей. Это было похоже на некий заранее отрететированный танец – сын или дочка соскакивали со стула, подбегали к папе, доходя ему, сидящему, в лучшем случае до плеча; его лицо – лицо большой птицы – приобретало выражение какой-то беззащитной нежности, он возлагал ребенку ладони на голову и нараспев произносил – если это был сын: «Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и Менаше», а если дочка – «Да уподобит тебя Б-г Саре, Ривке, Рахели и Лее» и в заключение пел тем и другим: «Да благословит тебя Г-сподь и да будет благоволять к тебе Г-сподь и да освятит Господь лицо твое и да пошлет тебе мир!» И, естественно, целовал очередную макушку. Вспомнилось сказанное кем-то: «*Аудиши маме* – это что! Вот еврейский отец – это да!» Затем он начал читать *кидуш*. Струйки красного вина переливались через край золотистого бокала, на котором сверкали барельефом две виноградные грозди, и красовалась надпись «Боре при агефен» – «Благословен сотворивший гроздь винограда». А когда зазвучало «ибо избрал Ты нас и освятил среди всех народов, и святую субботу свою по любви и мудрой воле твоей дал нам в наследие», при этих словах я «поплыл».

И первые сорок лет моей жизни, не освещенные смыслом, но милые, как найденные среди старых вещей обшарпанные игрушки твоего детства, и озарение, которое началось той ночью под Москвой и, в конце концов, привело меня в горы Самарии, и мой Ишув – в какое бы время суток я сюда ни приезжал, даже если среди глубокой ночи, я говорю: «Доброе утро», – и наши «шомронские» пацаны, которые вряд ли нашли бы общий язык и со мной, каким я был в их возрасте, и с Михаилом Романовичем, каким он будет в их возрасте, если Б-г не перенесет его сюда, и Цвика, мой чудесный Цвика, – «Мама, мама, что я буду делать?» – Цвика, чьего ноготка не стоят все гуманисты и политики, своей глупостью и подлостью подготовившие его убийство, всё, всё, с чем я хотя бы раз в жизни пересекся – всё вдруг встало на свои места, всё заговорило, запело, и так же резко затихло. Вспышка, а затем мир вновь стал обычным.

По белой глади скатерти плыли флотилии закусок, нежно зеленело авокадо, чернели на блюдцах грибочки с пупочками, благоухала измельченная индюшачья печенка. Во главе стола сидел Шалом, я, как почетный гость, рядом с ним, дальше тянулись многочисленные детишки, а напротив, как бы лицом к Шалому, сидела его жена, Сарра. Мелюзга трогательно друг за другом ухаживала, и тайком поглядывала на родителей – ну похвалите!

Погодите, я ведь вас еще толком не познакомил с Шаломом, вернее, познакомил, но не представил. Итак, это амбалище под потолок, чьи рост и сила вошли в Ишув в поговорку после следующей истории:

Как и все поселенцы, он принимал активное участие в демонстрациях против отступления с территорий. Как-то во время очередного разгона его заперли в каталажке вместе с еще восемью «нарушителями». Когда же через некоторое время менты снова зашли в камеру, они в ней не нашли никого, кроме Шалом и рава Шахаля. На вопрос окаменевших от изумления легавых: «А где же остальные?» Шалом молча показал пальцем на окошечко, сиротливо приоткнувшееся под потолком.

Загадка разрешилась. Стало ясно, что Шалом устроил друзьям массовый побег, перекидав их в окно. Остались невыясненными лишь детали.

– А этот? – коп показал на рава Шахаля.

Шалом аж вскипел.

– Ну не могу же я рава – и вдруг под зад?

– А ты сам?

– Не могу же я рава бросить!

Пока я вам все это рассказывал, на сцене появилось еще одно действующее лицо, правда, эпизодическое. В разгар трапезы пришел старший сын Шалома – Моше. Он молился вместе с друзьями в другой синагоге, и у них только сейчас все закончилось. Моше быстро сделал кидуш и присоединился к нам. Между ним и следующим сыном перепад в шесть лет, так что, если младшие в этой семье еще совсем козявки, то старший, Моше, только что отбарабанил в «Цанханим» – десантных войсках. Сейчас он завербовался еще на полгода в «Дувдеван», элитный спецназ, и это было главной темой разговора за столом наряду с бойней на баскетбольной площадке. От Шалома у меня, естественно, секретов нет, но я умолил его дома молчать и активно внедрять в сознание окружающих версию о подвиге Ави Турджемана. Шалом сморщился, будто проглотил что-то неаппетитное, но обещано молчал. Затем бойцы стали вспоминать минувшие дни. Шалом рассказал, как у Моше был отключен "пелефон", и он даже не знал, где его сын, но когда начали сообщать о боях в Дженине и о двадцати трех убитых, он почувствовал, что Моше – там. Так и оказалось. Моше был там, но жив и здоров.

– Мы там по улицам не двигались, – повествовал Моше. – Там у домов – общие стенки, так мы их пробивали, и так переходили из квартиры в квартиру в поисках террористов.

– По телевизору показывали какой-то левацкий фильм, я смотрел, когда ездил к друзьям в Хадеру, – так там – развалины, развалины, развалины.

Моше махнул рукой.

– Снять можно что угодно и как угодно. Разрушали мы только один раз – когда сжимали круг – и сжали до нескольких домов. Сначала террористы сдавались сотнями, и только последние семьдесят человек – их пришлось вместе со зданиями...

Меня поразила горечь, пропитавшая это «пришлось». Моше словно сокрушался о гибели лучших друзей. Эх, мне бы так печалиться над убитым мною арабом...

В эту секунду – словно аккомпанируя его словам, в Городе загрохали минометы, и одновременно с этим из танка, находящегося на горе рядом с ишувом, вылетел малиновый светящийся снаряд, довольно-таки медленно, так что глаз мог за ним угнаться, пролетел на краем Ишува и упал недалеко от арабской деревни – там что-то сверкнуло и ухнуло.

– Это они так, пугают, – прокомментировал Моше. – А вон там, – он показал на лежащий светящимся осьминогом Город, – может быть, действительно делают что-то серьезное.

– Сегодня в Городе пальба была, и дым шел, – добавил Шалом голосом робота.

Остальные также не выразили эмоций – злорадничать не хочется, сочувствовать – смешно. Хотя у Моше, похоже, получается. Еще раз плюнул танк, и где-то между нами и Городом басистыми цикадами запели автоматы.

– Моше, – спросил я. – А не страшно тебе в «Дувдеван» идти. Небось, рядом с ним и «Цанханим» детским садиком покажутся.

– Аль тагзим! Не преувеличивай! – отозвался Моше. – Ну, немножко опаснее.

Я посмотрел на его, в общем-то, бесцветное лицо, на серые глаза, в которых не было никакой одухотворенности, поскольку одухотворенностью был он сам, на стриженные темные волосы, на которых Б-г знает, как держалась кипа. Если Шалом был похож на ворона, то Моше скорее смахивал на ворону. А вот, поди, ж ты...

– В общем-то, я и в «Цанханим» не бабочек ловил, – продолжал Моше. – Когда очередь по блокпосту дали – одна пуля на сантиметр слева от меня прошла, другая – на сантиметр справа. И когда блок на голову сбросили, каску раскололи. Нет, ну конечно, в «Дувдеване» потруднее будет. Что делать! Ладно, с оружием я кое-как обращаться умею, а дальше – «эйн од мильвадо» – нет никого кроме Него». Это пусть Шарон Буша боится.

– Ну, а пройдут полгода. Повеюешь в «Дувдеване». Кстати, и денежек заработаешь. А дальше?

– Наймусь на *гиву* к Бенци.

Это надо объяснить. «Гива» на иврите – холм. Несколько лет назад поселенцы начали вести против родного правительства так называемую «волну холмов» – «*милхемет гваот*». В целях создания новых поселений и расширения старых, захватывались пустые никому не принадлежащие высоты. Рядом с нашим поселением было две таких гивы. Одну пришлось отдать. «Общество Охраны Природы» определило, что там растет какой-то реликтовый цветок, и селиться там нельзя. Очевидно, цветку вообще противопоказаны евреи, ибо обосноваться на этой *гиве* собирался рав Рубинштейн, страстный любитель и исследователь природы вообще и местной флоры в частности, создавший домашний музей «Ботанический сад Шомрона». Как бы то ни было, «Общество» было непреклонно. Евреи с *гивы* ушли.

Теперь там пасется арабский скот. Очень полезно для реликтов.

– Знаете, – сказал вдруг Моше, и я понял, что годы, проведенные на фронте не убили в нем мальчишку. – Есть у меня мечта. Я хочу сам какую-нибудь *гиву* захватить, а потом еще одну, и еще, и еще – так дойти до могилы Праведника.

Я глубокомысленно прикрыл губы ладонью, как бы облокотясь на нее, а на самом деле для того, чтобы скрыть улыбку. В тот момент, как Моше устремил взор куда-то вдаль, я попытался подмигнуть Шалому, но остолбенел – его глаза были абсолютно серьезны.

– Это малореально, – по-деловому сказал он сыну. – Мы не знаем, кому принадлежат холмы между нами и Городом. Если хотя бы на один из них имеется бумага у какого-нибудь араба, весь твой план летит к черту.

Это верно. Ни один дом, ни в одном поселении, ни один самый зачуханный караванчик не стоит на земле, принадлежащей арабам. Ни одна олива не была спилена, ни один сарай не был снесён, когда двести тысяч евреев селились в Иудее, Самарии и Газе

Любопытно, что народ, создавший империю на индейских землях, и народ, превративший Кенигсберг в Калининград со всеми вытекающими для коренных жителей последствиями, считают нас захватчиками и оккупантами. Да что говорить о них! Тель-авивский университет, оплот левых борцов против «оккупации» находится на месте снесенной арабской деревни. А Лод, откуда арабов выселяли силой? А Яффо? С одной стороны, ЦАХАЛу в сороковых-пятидесятых удивлялись – что это за армия, которая не грабит и не насилует. Да и большинство арабов бежали сами, рассчитывая с войсками соседних стран вернуться по еврейским трупам. А с другой стороны – всякое было, не то, что в наше время.

Между тем, Шалом продолжал:

– Я старый какер и уже врос в землю корнями. Но если бы мне было двадцать лет, я бы... Он повел рукой в сторону, противоположную от Города.

– Вон там, за хребтом еще три года назад была наша военная база.

– Я помню, – сказал Моше. – Ночью – светящийся пятиугольник.

– Именно, – подтвердил Шалом. – Наши ее отдали. Но территория принадлежит государству, арабы там не живут. Вот на ее месте и стоит сделать поселение. Создай ядро – инициативную группу – и вперед!

Я не верил своим ушам. База находилась на самом дне долины, склоны которой усеяны арабскими деревнями. Если мы здесь, на горе, еле отбиваемся, то что же будет там?

– А арабы там тихие? – спросил я там вкрадчиво, будто решил, что чем нежнее у меня голос, тем доброжелательнее будут окрестные арабы.

– Нынче арабы тихими бывают только в гробу, – ответил Шалом, а Моше поморщился отцовской реплике и добавил:

– Мы, – он имел в виду «Цанханим», – «работали» в этой долине. Видел я, какие они тихие. Растерзать готовы. К тому же все вооружены до зубов. У меня там друга убили.

– Ничего, – пожал плечами Шалом. – Возьмешь ребят покрепче.

За девятнадцать дней до. 29 сивана. (9 июня). 17.15

Крепкий мужик рав Нисан бен Иосеф! Плечи одни чего стоят! Самсон! На этих плечах на короткой шее могучая голова – есть в нем что-то общее с Марксом, но, во-первых, стрижка короткая, а во-вторых, рав гораздо умнее. Наверно, потому, что он сам раввин, а Маркс был лишь внуком раввина.

Рав Нисан – сефард, он приехал из Франции. Был раввином в Ницце. Нет, вы не поняли – раввином в Ницце! Куда едут богатые евреи со всего мира отдыхать? Правильно. А куда они идут вне зависимости от степени религиозности, чтобы все видели, что они не забывают свое еврейство? В синагогу. А что они там делают, чтобы все знали, какие они хорошие? Пожертвования. Так что значит быть раввином в Ницце? Золотой унитаз. И вот рав Нисан бросил все, уехал в нашу тьмутаракань и в международном, и во внутриизраильском смысле, стал административным директором наших ишувских ешив, мотается по Европам и Америкам и у тех самых богатых евреев, которых милостиво принимал в Ницце, теперь выклянчивает деньги на ешиву.

– Ма нишма, рав Нисан? – Что слышно, рав Нисан?

– Аль апаним. Эйн кесеф беойропа. – Ужасно. Нет денег в Европе.

Сейчас по шабатам после второй (то есть, утренней. Первая – в пятницу вечером) трапезы он дает урок для начинающих. Я хоть и не совсем начинающий, но на занятия его хожу с удовольствием. То есть, это, конечно, не уроки нашего великого рава Розенберга или хотя бы хабадника рава Рубинштейна, попроще будет, но с другой стороны после Рихарда Штрауса можно и Иоганна послушать. Придя в синагогу, обнаруживаю знакомые все лица – Иошуа, Шалом, Хаим.

Собственно, начинающий здесь только Илан. А с другой стороны, кто из нас в этой жизни не начинающий? Илан славный парень – высокий, смуглый, с черными вьющимися волосами – тоже явный сефард. Он врач, живет в Тель-Авиве и влюблен в наш Ишув. Перебраться к нам, к сожалению, у него нет возможности. Персонал больницы кассы "Клалит" здесь укомплектован, от "Макаби" и "Леуми" работают представители, а "Меухедет" вообще на территориях не функционирует. Да и то – единственный на весь Ишув пациент "Меухедет" – ваш покорный. Приходится гонять в Петах-Тикву – полтора часа автобусами плюс ожидание. Хорошо еще Б-г здоровьем не обделил. Вот только бы курить поменьше.

Илан приезжает к нам на шабаты, на праздники, иногда среди недели – на ночь глядя – чтобы послушать урок какого-нибудь раввина, а утром – на работу. Иногда даже не слушать кого-то, а просто погулять. Ведь Самария – тоже как строка из Торы. Я помню, однажды он долго смотрел на гору Благословения и гору Проклятия. Гора Благословения вырастает прямо из Города, доползшего до низшей ее трети, струной натянут ее хребет, правый край которого увенчивает купольный дворец, принадлежащий какому-то арабскому богачу, а середину – еврейское поселение, к которому мазками лесов взметнулись остатки зеленого буйства, в годы Первой Мировой Войны уничтоженного арабами и турками. На левом краю ее примостилась самаритянская деревня. Оттуда светло-бурая гладь с разбросанными по ней белыми арабскими домиками спускалась к подножию вплоть до темного лагеря беженцев, гнезда ненависти и убийства. А гора Проклятия, голая светлая туша, пересеченная белым шрамом дороги, увенчана антеннами базы ЦАХАЛа, устремленными в небеса подобно ракетам на космодроме. Илан стоял, пристально вглядываясь, будто пытаясь сосчитать все травинки от подножий до вершин, а потом дернул головой, точно хотел непослушные слезы перелить обратно в глаза, и сказал срывающимся голосом: «Когда-нибудь всё это будет нашим».

Все наши сидели и ждали, когда рав Нисан будет говорить. Но он молчал. На столе шипела вскрытая бутылка содовой, ветер с улицы, суясь в открытые окна и двери, спорил с воздухом в синагоге – кто горячее. Неожиданно под потолком вспыхнули лампы, видно кто-то неправильно поставил таймер. А рав все молчал. Наконец, я не выдержал.

– Рав Нисан, анахну мехаким. – Мы ждем.

Рав проткнул меня взглядом, как булавкой бабочку, и спросил:

– Лема? – Чего?

– Лэшиур. – Урока.

– Эйзе шиур? – Какого урока?

– Шиур тора. – Урока Торы.

– А зачем вам учить Тору? – спросил рав.

Мы застряли.

– Потому что мы евреи, – нашелся, наконец, Шалом.

– А вы евреи? – уточнил рав Нисан. – Настоящие? – продолжал он прокалывать наше молчание. Мы дружно выдавили из себя растерянный кивок.

– Тогда скажите, что должен в первую очередь сделать настоящий еврей, когда он утром приходит в синагогу?

– Ну, прочесть «Как прекрасны шатры твои, Израиль!»

– Я говорю, не сказать, а сделать.

– Ну, надеть *тфилин*, *талит*, – начал дружелюбно гадать Илан.

– Так *тфилин* или *талит*?

– Сначала *талит*, – хором сказали все.

– Чудесно! – рав Нисан потер руки. – А о чем должен думать настоящий еврей, когда он обматывается *талитом*? – и раввин сделал движение левой рукой, будто он, натянув талит на голову и плечи и прикрыв правым его краем лицо, резко забрасывает себе за спину другой конец *талита*, так что воображаемые нити-*цицит* засвистели в воздухе.

Наступило молчание.

– Настоящий еврей должен представить себе, как на него опускаются крылья Шхины – присутствия Б-жьего, – ответил Иошуа.

– Бред! – отрезал рав Нисан.

– Настоящий еврей должен представлять, как Шхина опустилась на еврейский народ у горы Синай, – попробовал я.

– Еще хуже.

– Настоящий еврей должен вспомнить, что предстоит еще один день служения Вс-вышнему и начать его... – начал Шалом.

– Достаточно, – сказал раввин. – Ну, – он обратился к Илану. Тот мудро развел руками.

– Эх вы! – сказал рав Нисан. – Настоящий еврей думает о том, как бы не попасть кистями-*цицит* в глаз тому, кто стоит сзади.

За восемнадцать дней до. 30 сивана. (9 июня).20.40

Глаза Иошуа чернели так, как бывает, когда им овладеет очередная навязчивая идея. Он успел переодеться, и был не в нарядном черно-белом субботнем одеянии, а в стареньких джинсах и футболке, из-под которой свисали цигит с вплетенной в них голубой нитью – нововведением, всё более распространяющимся в Израиле среди религиозных людей всех направлений, даже антиссионистов, и служащим знаком того, что Геула – Освобождение – близко. Ну, и, естественно, в кипе с кисточкой.

Я к его приходу как раз закончил «Авдалу» – обряд прощания с субботой, закончившейся с выходом звезд.

– Итак, – начал он и сам себя прервал, – красота какая – хаваль аль азман! – он подошел к окну. – Всё это надо писать, писать, писать.

– А потом мне – дарить, дарить, дарить, – ехидно продолжил я.

Вместо Иошуа ответил его взгляд:

«Пошел на фиг, на фиг, на фиг!»

Я поднялся с дивана и тоже подошел к окну. Красота была действительно – нечто. Город с его огнями казался отражением звездного неба, которое сегодня было каким-то особенно сумасшедшим. Цепочки огней, бегущих по хребтам, напоминали гирлянды ленточек во время праздничной иллюминации. Это всё были наши поселения, а внизу россыпями голубых бликов плавали арабские деревни. Антенны военной базы на горе Проклятия обозначились темно-красными огоньками. Ишув, который весь лежал у наших ног, светился теплым желтым светом, и было в нем что-то – да простят меня мои единоверцы – от фотографий европейских или американских городов в ночь на Рождество. Улочки, освещенные тусклыми фонарями, струились с пригорков, и высаженные по бокам темные деревья вставляли лесистыми берегами.

– Мозги на другое нацелены. Надо остановить этого мерзавца. Хотя бы ценой собственной жизни. Но если останусь жив – напишу *Шомрон*. Самарию. У меня ведь кроме *Шомрона* ничего и нет. Семьи нет, друзей – ты да Шалом.

Плюс к мистическим заморочкам и скряжничеству у Иошуа есть еще одна мерзкая черта – он жуткий нытик. Часами может рассказывать, как ему плохо, какой он одинокий, как у него нет денег – все ради того, чтобы его погладили по головке.

– Зато у тебя есть талант.

Я думал, он начнет скромничать или отшучиваться, но он ответил твердо и серьезно:

– Это не я. Это Б-г. Я – инструмент.

– Все мы лишь инструменты.

Иошуа ничего не сказал. Он стоял у окна, худой, в белой кипе, которая удивительно шла к его смуглоте, с заостренными чертами лица, чертовски смазливый, и мне ужасно захотелось, чтобы он остался жив и «написал *Шомрон*».

Потом он резко повернулся ко мне, живость в карих глазах вновь сменилась чернотой.

– Я пришел обсудить список, – объявил он.

– Какой список? – спросил я.

– Возможных кандидатов.

– Кандидатов на что? – спросил я.

– На предательство. Дай кофе.

– На ночь кофе вредно, – возразил я.

– А утром я его не пил. Воды горячей не было.

Что означало: «я забыл нагреть воду перед шабатом». Против такого убийственного аргумента возразить было нечего. Пришлось включить электрочайник.

– Так вот, – продолжал Иошуа, усевшись в кресло. Его вытянутые длинные ноги в серебристых джинсах на фоне линолеума напоминали железнодорожные рельсы. – Мы с тобой решили – это не может быть поселенец. Значит, кто-то пришлый. Кто *алеф* – знаком со мной, *бет* – кому я говорил о своих планах и на семнадцатое *ияра*, и неделю назад. Что до семнадцатого *ияра* – ничего не помню. Это было полтора месяца назад. А вот ровно неделю назад на исходе субботы я зашел к тебе. У тебя как раз сидел этот парень из России. Он иностранный рабочий.

– Не из России, а из Молдавии, – поправил я.

– Хорошо... Я говорил еще, что в понедельник поеду в Иерусалим. Утром. Он попросил купить ему Тору с русским переводом. Решил посмотреть, на чем это евреи так зациклились. А в Городке Тора не продается.

– Да ты ее и в Иерусалиме не купил, сказал, что там в русском книжном магазине тоже не было. Слушай, а еще кто-нибудь знал о том, что ты едешь.

– Ну... я говорил об этом на уроке рава Бен Иосефа. Спрашивал, не хочет ли кто со мной навестить рава Михаэля...

Это тот психоаналитик, о котором я вам рассказывал.

– Но у рава Бен Иосефа на уроке были одни поселенцы!

– А в воскресенье?

– Что в воскресенье?

– В воскресенье ты кому-нибудь говорил?

Иошуа несколько секунд, нахмурившись, смотрел на меня, будто не понимая, потом сокрушенно поник кудлатой головой. Кисточка уныло свесилась.

– Да, Рувен. Испортил я себе когда-то память колесами. Теперь маюсь. Ничего не помню. Вообще со здоровьем...

– Хорош плакаться. Вываливай, что случилось.

– А то и случилось. Я ведь заходил в Районный Совет Самарии. Выяснял, едет ли кто завтра в Иерусалим. Не спроси ты сейчас – в жизни не вспомнил бы.

– А кто там был?

– Да человек шесть. Некоторые – явно не из нашего поселения.

– А еще где-нибудь ты спрашивал?

– В синагоге... После утренней молитвы... Но там-то все наши, поселенцы.

– Понятно. Беда лишь в том, что полтора месяца назад ты не мог спрашивать в Совете, кто куда едет. Тогда у тебя была своя машина.

– Была. Но где-то примерно в это время я зашел туда. Выяснить насчет налога. Мне сказали, что могут меня принять в понедельник. Я ответил, что в понедельник еду в Цфат. С утра. У меня там выставка. Договорились на среду. Кстати, я до них так и не добрался. Началась возня с ремонтом машины после обстрела. Вообще закрутился.

– Между прочим, когда тебе машину-то починят?

– Уже починили. На этой неделе забирать поеду.

Своя машина – это хорошо. С одной стороны, все ее знают, так что вычислить, кто едет – несложно. И сразу позвонить – «Иошуа Коэн едет – стреляй!» С другой стороны, тот, кому звонят, должен сутками сидеть в кустах, ждать, когда Иошуа Коэн соизволит проехать. Такое, впрочем, тоже может быть. Мало ли они убивают просто так, без всякой причины? Может, действительно, где-нибудь за камнями прячутся – будет звонок – хорошо, не будет – шлепну кого полегче.

– Значит, три варианта. Либо стреляли хоть в кого. Либо увидели, как я сажусь в машину. Либо кто-то заранее сообщил, что я буду проезжать.

– Кто-то – это или из Совета Поселений, или...

– ?

– Или все тот же Игорь. Ты же каждый раз вечером заходишь ко мне, и он, как правило, тогда же заходит. Кстати, интересно, куда это он сегодня запропастился. Небось, когда он тогда пришел, ты хвастался своей выставкой.

– Ты знаешь, не помню.

– И я не помню. Но зная тебя, уверен, что хвастался.

– Спасибо.

– Пожалуйста. Дальше – на уроке у рава Бен-Иосефа или на чьем-нибудь еще уроке ты не приглашал народ на выставку?

– Да нет... Кто хочет, может ко мне зайти в караван. Посмотреть.

– Ну, караван – одно, а вернисаж – другое. К тому же толпу создать, ажиотаж.

– Что ты из меня придурка делаешь?

Люблю я слово «*метумтам*», «придурок». Ме-тум-там. Как будто по лбу стучат половником.

– Так все – таки где ты ещё упоминал о Цфате?

Иошуа поморщил и без того морщинистый лоб и неуверенным голосом сказал:

– По-моему тоже после утренней молитвы. В синагоге. Спросил, не едет ли кто в Цфат.

– Поселенцы, – сказал я.

– Поселенцы, – согласился Иошуа.

– Хорошо, вернёмся в Совет Поселений. С кем ты тогда разговаривал?

– С секретаршей. Она из Городка. Двора...э-э-э...Двора Мешорер.

– Религиозная?

– Вряд ли. В брюках ходит. Да ты её знаешь. Красивая – *хаваль аль азман!*

– Погоди, она, кажется, из России!

– *Ватичка*.

– *Ватичка*, говоришь? Сколько лет в стране?

– Не знаю. Но больше чем ты.

– Понимаешь, есть которые с первого дня ватики, а есть двадцать лет в стране, а всё «свежие репатрианты».

– Не понимаю.

– Ну и не надо тебе понимать, это наше *олимовско-ватиковское* дело.

– Ох уж эти русские!

– Поговори мне.

– Дело в том, что Городок – увы! – уже давно не поселение.

– Это – то ясно. В его промзоне владельцы фабрик и в лучшие времена *олимовских* девочек под арабов подкладывали. В качестве премии за хорошую работу. Моральные стимулы, так сказать.

– Ну, сейчас арабы там не работают. Так что не под кого подкладывать.

– Наверно, поэтому предприятия там позакрывались.

Иошуа промолчал и мне пришлось резюмировать самому:

– Что верно, то верно. Молодая женщина из Городка, ради денег или ради кавалера – араба... Увы, вполне реально.

Иошуа продолжал молчать. Видно было, что хотя он сам всё это расследование затеял, но когда дело дошло до конкретных людей, подозрения бьют его под дых. Вот ведь, такой же *тишувак*, как и я, а *тишувка* куда полнее. (Для тех, кто не знает – мужчина сделавший тшуву то есть вернувшийся к Торе – *тишувак*, женщина – *тишувиха*).

Пришлось мне изображать из себя циничного Пуаро.

– Значит так, – сказал я, – На мушке у нас – двое – Игорь и эта Двора – как её...?

– Мешорер.

– *Мешоререт*, поэтесса, значит.

- Кто ещё там был?
- Лысый такой. Всё время там вертелся.
- Израильтянин или репатриант?
- Израильтянин. Единственная там репатриантка – Двора.
- Выяснишь. Будешь завтра крутиться в Совете, вспомнишь всех кто был...ну, скажем, неделю назад, этого достаточно.
- В Шхеме застучал пулемёт.

* * *

А в дверь застучал Игорь. Я его по стуку узнаю с лёгкостью. Он барабанит без передышки, пока не откroешь: «*Ме-тум-там* пришёл! *Ме-тум-там* пришёл!»

– Открыто, – крикнул я, и, преодолевая Гошкины объятия, в эшкубит вошёл Игорь – здоровяк, лицо которого представляло красивый равнобедренный треугольник, чьё основание было обозначено чёлкой, перерезавшей широченный лоб, а вершина – острым подбородком. Посередине был прилеплен нос, явно заимствованный с ещё более крупного лица, к переносице лгнули черные глаза, а рот, когда мой приятель улыбался, казалось, достигал не ушей, «хоть завязочки пришей», а глаз.

Игорь, уроженец какого-то городка под Кишинёвом, приехал в Израиль как турист и, проколесив по нашим необъятно – микроскопическим просторам, осел в Ишуве в качестве рабочего в продовольственном магазине. Он постоянно жалуется на хозяина, Бени Дамари, что тот его обворовывает. Насчёт в прямом смысле обворовывает – не знаю, но когда я в первый год своего существования в Израиле вообще и в Ишуве в частности перешёл на трёхразовое питание, то бишь ел раз в три дня – свеженький *оле*, отсылающий все деньги в Россию – и не смог заплатить за два месяца, Бени благополучно закрыл мне кредит – травку щипай, милый. Вот тебе и религиозный человек, поселенец!

Игорь меня нежно полюбил после того, как я поставил ему установку «Yes» и оформил на себя.

Представляете, в чужой стране, в глухом поселении, без денег – ибо деньги он, как и я когда-то, отправлял семье, – без языка. На работе до семи. А вечером что делать? В Ишуве русскоязычных семей всего пять. Плюс я, беспсемейный. Все люди занятые, а если у кого-то вечером часочек свободный появится, либо занимается с детьми многочисленными, либо пойдёт на урок по Торе к какому-нибудь равву. Исключение, правда, Марик, но Марик – бука, к нему не подступишься.

Книжки, которые у Игоря были, он проглотил в одно мгновение, аналогичная участь постигла и мою библиотеку, вернее ту её часть, которая представляла для него интерес. Понятно, что я не предлагал ему «Мудрецы Талмуда» Урбаха или «Беседы о Торе» рава Ицхака Зильбера.

Читает Игорь по – пролетарски, ни на миг не отвлекаясь от сюжета на ненужные детали, как то психология, пейзажи, абстрактные размышления и т. д. Разумеется, при таком стиле чтения в час он просвистывает примерно восемьдесят страниц, и никаких книгохранилищ ни напасёшься.

В-общем, оформил я на себя для него «Yes», чтобы парню с банком не связываться, времени не тратить. У меня автоматически стали вычитать из зарплаты по двести шекелей каждый месяц, а он их мне потом отдавал. Причём, организовывать и оформлять всё это пришлось, разумеется, мне. Волынка была та ещё.

Честно говоря, не обошлось у меня и без задней мысли. Я, может, и хватил лишку, когда страницу назад припечатал его «*метумтамом*» и вообще, парень он неплохой, но уж больно достал меня всякими разговорами. Хуже Марика. Особенно, когда начинал рассказывать, как

«ну вот сам видел, правда, на видеокассете, на Пасху в Иерусалиме батюшка ну вот так вот – держит свечу, а она – бац! – и сама загорается». Пару раз я пытался объяснить ему разницу между Творцом Вселенной и ярмарочным фокусником, а потом махнул рукой.

С тех пор, как ему поставили «Yes», он стал гораздо реже маячить по Ишуву, и только на исходе субботы по традиции заявляется ко мне.

Забавно, что Иошуа облюбовал себе те же часы для посещения моей скромной обители. Так что нет ничего удивительного, что они оба раза встречались накануне покушений.

Войдя в эшкубит и отчесав Гошке за ушами положенную норму, Игорь плюхнулся в свободное кресло и, некоторое время пореагировав на мое предложение глотнуть кофе, а также выяснив, что ничего посущественнее, чем кофе нет, (вообще-то было, но я скрыл этот факт – неровен час, сопьется малый) милостиво принял в недра обжигающую черную жидкость.

Все это время Иошуа что-то обдумывал и, наконец, повернувшись ко мне, потребовал:
– Спроси у него, понимает ли он, куда попал? В самое красивое место на земле.

Я изумленно поглядел на него, но он подмигнул мне так, чтобы этого Игорь не видел, и я, пожав плечами перевел. Игорь тоже удивился неожиданному вопросу, но вежливо объяснил самаритянскому патриоту, что хотя и уважает глубоко привязанность последнего к Израилю, но для него, молдаванина, и Молдова сойдет.

– Скажи ему, – отпарировал Иошуа, – это потому, что он не видал рассвета у нас в Самарии. А точнее, прямо здесь. В Ишуву. Зрелище – хаваль аль азма! Я же браславский хасид. Мы должны молиться на рассвете. Желательно в лесу. Вот я и начал сегодня утром. Молился в рощице напротив своего дома. А завтра пойду в большой лес – знаешь, который начинается прямо на выезде из поселения?

Я переводил весь этот бред, не понимая, к чему он клонит. Тут Гошка начал всем объяснять, что на улице не был уже несколько часов, а ужас, как хочется. Иошуа зыркнул в мою сторону, сделал большие глаза – дескать, твой моськ мне всю обедню портит. Пришлось поцыкать на бедного Гошу.

– Я теперь ходить буду туда. Предложи ему – если хочет, пусть идет со мной. Я буду молиться, он – любоваться.

Я тупо все перевел, Игорь, конечно же отказался, и только когда за ним захлопнулась дверь, (в эту субботу сие случилось довольно рано), я понял, кем решил стать Иошуа – наживкой.

За восемнадцать дней до. 30 сивана. (10 июня). 3.00

Как рыба золочёную наживку, проглотило облако усохший серпик луны и выплюнуло за хребет, куда он и канул. Я понял, что пора вставать, и включил свет. Стрелки показывали три часа ночи. Я схватил «эм-шестнадцать», надел тёмную рубашку, дабы не светиться – в прямом смысле – и не давать фору моим арабским братьям, натянул кроссовки, чтобы не ободрать ноги о колючки, коих вокруг великое множество, и...

Вчера я чуть не бросился за Игорем объяснять, что Иошуа пошутил, что никуда он ночью не пойдёт, Иошуа удерживал меня, орал, что я таким образом выдаю его арабам, что, если Игорь их человек, теперь они поймут, что он, Иошуа, пытается их разоблачить. Порешили, что черт с ним, пусть идет, все равно дурака не остановишь, но сначала пойду я, засяду в кустах и попробую обеспечить ему максимальную безопасность, что, в общем то не так уж сложно, потому что проход в лес между скал только один, и просматривается со всех сторон. И – вопрос: брать Гошку или нет? За – то, что собака, даже такая, не шибко ученая, как мой красавец, издавека учует злодея и бяку ненавистную. Против – она же учует, она же и залает, и лаем своим спугнет. А у нас задача – «Идите, Сидоров, и без языка не возвращайтесь!» Опять же в случае чего у Гошки, непредсказуемого и нетренированного, шансов получить пулю куда больше, чем у нас с Иошуа вместе взятых, а я, будучи готов рисковать собственной жизнью, не в силах рисковать Гошкиной.

Не верите? Это потому, что вы не видели, как Гошка, заливаясь счастливым лаем, носился и катался по снегу, который два года назад выпал у нас в Ишуве и продержался с вечера аж до полудня. Гошке, должно быть, показалось, что он опять щенок, а вокруг – родной Ленинград, где он провел первую и единственную снежную зиму в своей жизни.

Вы всё еще меня не понимаете? Тогда знайте же, что Гоша умеет улыбаться. Когда ему чешешь пузо или покрытую вьющейся шерстью грудь, его морда расплывается в счастливой улыбке, которую можно встретить лишь у эрделей – у других пород отсутствуют какие-то там мышцы.

Вы пожимаете плечами. Как бы это мне объяснить вам, что такое Гоша? Ну, хорошо, вот такой случай. Однажды я вез его в Городок к ветеринару. Что-то у него с лапой было, не помню уже что... Неважно! Вылечили и слава Б-гу. Так вот, на обратном пути за мной заехал парень из Ишува, Шимон Кахалани с «Фордом», причем «Форд» был почти пустой. Предназначался он для перевозки всяких товаров, которые заказывал Дамари для своего магазина. На сей раз Шимон ехал порожняком, я уселся в крытом кузове на единственное сиденье, а Гошка улегся рядом на грязный, с облупившейся синей краской обсыпанный пшеном и каким-то сахарообразным порошком металлический пол. На поворотах его слегка потряхивало, но я увлекся книжкой, которую на тот момент читал, и не обращал внимания – что я ему, бэбиситер? Вдруг моей щеки коснулось горячее дыхание. Я поднял глаза и увидел, что мой пес, хотя его и мотает по всему кузову, пытается усестись рядом со мной, прижаться ко мне, а по мохнатой морде текут слезы: «Мой отец забыл про меня! Мне плохо, меня швыряет из стороны в сторону, а ему плевать. Он уткнулся в свою книгу и даже на меня не посмотрит».

Я вас так и не убедил ни в чем? Ну и шут с вами. Пока мы беседовали, Гошка уже успел сбегать на улицу и сделать свои дела. А затем я покормил его, собрался и вышел из дому. Ветер стих. Позолоченные светом фонарей деревья, казалось, окаменели, чтобы не спугнуть бездонную тишину. Машины, дожидавшиеся, как покорные собаки, когда выспятся их хозяева, сверкали, подставив лучам фонарей полированные спины. Подсыхала брусчатка возле соседнего дома, куда вместе с песком через трубку в каменной ограде с чьего-то чересчур обильно политого газона стекла вода. Налетевший ветер погнал вдоль стен голубой полиэтиленовый

пакет. Потом тишина потихоньку ожила стрекотом цикад и лаем далёких собак. Где-то в ушеле застонал шакал. Где-то в Ишуве заверещал петух.

Три. Примерно через полчаса я приду на место. А ещё через часок – глядишь, и товарищ террорист пожалует. Раньше вряд ли – ему там нечего делать. И позже вряд ли: когда начнёт светать – опасно. А так – под крылышком тьмы... Он только не учёл того, что лес находится на скалистом плато и единственная тропка, ведущая в него, отходит от дороги. А на дороге – фонари. Нет, конечно же, он не дурак, чтобы идти по дороге, он пойдёт полем. Но пересечь дорогу ему всё равно придётся, и именно в этом месте. Таким образом, если не знать, что он здесь должен пройти, его в жизни не засечь. А вот если знать... Мне даже пришла в голову мысль по мобильному позвонить Иошуа и сказать, что его присутствие вообще не требуется, я сам справлюсь. Так Иошуа меня и послушался. И в чем-то он прав – выезд из Ишува просматривается в бинокль, и они могут послать убийцу только после того, как Иошуа пройдёт въезд в Ишув. Приборы ночного видения у них вряд ли есть, но они и не нужны. Пространство перед будкой часового хорошо освещено и фигурку человека в белой кипе до самых ушей увидеть легко. Из ружья его, конечно, не достанешь, бросаться с ножом так близко от Ишува тоже рискованно. Значит, придётся посылать кого-то следом. Иошуа углубится в лес – а тот за ним. Так, а что если они вдруг отправят кого-то заранее? В этом случае они должны принять в расчет, что Иошуа может и не явиться. Тому потом придётся возвращаться, когда уже на шоссе полно солдат и поселенцев. Правда, если он – не дай Б-г! – подстрелит Иошуа, из лесу ему тоже нелегко будет выбраться, но в этом случае он, по крайней мере, не зазря погибнет – ликвидация Иошуа для них имеет психологическое значение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.